

ОДОЛЕНИЕ ВРАЖДЫ И БЕДЫ

Новая повесть Татьяны Грибановой «Всего дороже» — о людях русской глубинки, на долю которых выпали тяжкие испытания XX века: разрушение традиционного уклада жизни и братоубийственное истребление друг друга, голод, война... Зачин повествования — последние дни фашистской оккупации, когда каратели «помиловали» обитателей затерянной в лесу деревушки Березовки и не сжигают их в амбаре, а угоняют в полон. Скорбный путь заставляет персонажей вспомнить минувшее, задуматься о сути вещей, найти силы для главного в жизни поступка.

Тема зла — одна из центральных в повести. Но без зла не проявилась бы значимость добра. Раньше (в XIX веке) писатели видели исток зла в крепостничестве, затем в капитализме. Советские писатели объясняли зло «наличием» пережитков прошлого. Перестроечные писатели винили во всем сталинизм. Эпиграф из Максима Горького в повести стал свидетельством того, что Татьяна Грибанова призывает не к разрыву с наследием советского периода в истории народа, а к пониманию его как времени великих испытаний. В повести нет обличения сталинизма. Но есть представление о том, что в жизни много такого, что не определяется желанием или нежеланием кремлевских правителей.

Татьяна Грибанова нарочито уходит от социального объяснения причин зла (очевидно: она не делает главного отрицательного героя, полицая и душегуба Митроху Жихарева сыном кулака или партийного деятеля). Она показывает читателю, что сама жизнь порождает зло — и то вечно, как полюс магнита (в повести рождается от сильнейшего любовного влечения — вспомним хрестоматийно известного младшего сына Тараса Бульбы Андрия). Вот, казалось бы, почти братья — Роман и Митроха. И вдруг жизнь стремительно разводит парней по разным полюсам. И порой кажется, что отрицательный герой показан даже ярче, рельефнее, чем положительный Роман (тот больше похож на безмолвно-го тургеневского Герасима).

Русская женщина Ариша — вечный, узнаваемый образ нашей литературы. В ней воплощена загадка русской души. В сущности, повествование совсем не о старых людях — героям максимум по тридцать лет. Но сколько ими пережито! В то же время, несмотря на контекст эпохи, это не роман, не набросок романа, а именно повесть — действие вширь охватывает несколько месяцев (а в глубину — всего с десятков лет). Героев немного, сюжетная линия одна. И все это на фоне многоликого, многослойного и противоречивого до крайности XX века. Это именно повесть, более того, повесть сказовая — что особенно зримо проявилось в финале. Взрыв в глухом лесу — как нечто таинственное и сказочное, неведомое, положившее предел смертельной угрозе, терзаниям и скитаниям, давшее нежданную свободу. Пришли беды и ушли как морок, кошмарный сон. Да навсегда ли ушли, не вернуться ли? — вполне может задать себе вопрос вдумчивый читатель.

Отрицательный герой все-таки *любит*, оттого и жертвует собой в итоге ради любимой женщины. Но любовь эта большая, отравленная дьявольским наваждением. И нет другого пути «справиться» с ней, как пожертвовать своей пропащей натурой, вступив в схватку с врагом ради спасения души.

Зло приходит «ниоткуда», а значит, все социально-экономические улучшения, военные маневры и политические убеждения не гарантируют род людской от наступления беды, от нашествия захватчиков. Чем противостоять? Бороться? Да. Но не менее важно остаться *людьми* в этих испытаниях. И если не удастся сохранить в себе человеческое, то с честью принять мученическую смерть.

Деревня Березовка в повести — средоточие мира. Все беды Вселенной огненными потоками тянутся и жгут деревеньку, убивая людей и разрушая созданное людьми, но в то же время выжигая в душах оставшихся все неправедное, наносное, фальшивое. Живым на будущее остается самое главное, самое дорогое.

Образ дороги в лесу, по которой гонят в рабство русских людей, — зеркальное отражение событий дальних-дальних времен, когда первые поселенцы так же по лесным дорогам пришли в эти места Среднерусской возвышенности и основали деревни и села. Снова *сказ*, снова хождение по мукам — совсем как в недавней поэме Татьяны Грибановой о Марье, которая Ивана искала. Только теперь не кочевая конница, а орда фашистская одолевает. У каждого столетия — свой Батый.

По-своему интересна тема Финляндии, и речь не только о географии, а о стилевом взаимодействии. Деревенская проза Грибановой в чем-то созвучна прозе скандинавских писателей: описания лесной, уединенной жизни, характеры героев — под стать персонажам северных саг. Значим образ финского военврача-хирурга — он по-своему символичен в повести как образ спасителя главного героя... Северные леса, озера, валуны. Там тоже свой мир, чем-то похожий на мир Березовки, на удивление, не чуждый ей. И от этого мира как некий волшебный предмет Березовке «передается» финская солдатская шинель. Шинель не гоголевская, не просто предмет военной амуниции. Она не убивает, не изнуря-

ет, а, напротив, спасает — спасает не только от холода и бытовых невзгод, а спасает ребенка, будущее рода, всего народа. Шинель — как напоминание воюющим: ради жен и детей найдите силы и мужество прекратить вражду и остановиться в бессмысленной войне, перестаньте уничтожать друг друга, придите к миру, верните пленных.

Тема любви — казалось бы, самая простая для писателя в его обращении к читателю. Но на самом деле — самая трудная в литературе. Кто-то сказал, что настоящая любовь закончилась тогда, когда появились первые книги о любви: начались повторения, подражания, а то и пародии, пересмешки. В повести любовь не плотская (сеновальная или малинная, где-то на речном берегу). Здесь любовь не в яркой обертке хороводов и записных деревенских обычаев. Нет, это любовь исконная, заповедная, времен райского Эдема и пробуждения человека в человеке. Мне чем-то напомнило все это тональность Мопассана, но у автора повести все по-русски, все от истока. Описание любви, этого вечного движителя загадочной русской жизни, в повести «Всего дороже» — художественное открытие Татьяны Грибановой.

Тема оккупации. Казалось бы, написано уже много о ней, да и в наши дни книги выходят одна за другой. На удивление, Татьяна Грибанова нашла свое в этом разноголосье — ей важно увидеть, как живет *дух* человека в исключительно враждебной среде. Кажется, противостоит нашествию захватчиков сама лесная, болотная, луговая, скрытая туманом и сумерками потаенная сила жизни, которая почему-то сразу не смогла одолеть ошалелого насильника, но спустя какое-то время в великой ярости начинает давать отпор: где из чащи выходит партизанский отряд, где мороз сурово и неумолимо студит вражью силу, где топь жадно поглощает вражескую колесницу, а где в дремучей глу-

ши теряет дорогу отряд карателей. Необоримый дух земли пронзает чужаков такой порчей и жутью, что сгинут они бесследно среди дремучего леса. И кажется, что в финале взорвались не гранаты, а тот комок боли от попрания чести и правды, что сжимался столько дней и ночей.

Созвучен и образ юродивого Афонни — сказовый, из времен далекой Смуты, из стрелецких восстаний, из церковного раскола. Народ-богоносец юродивого жалеет, до последнего заботится о нем. Здесь что-то непознаваемое и необъяснимое, чего никогда не понять ни врагу, ни заезжему начальству.

В целом же повесть оставляет благоприятное впечатление. По сравнению с хрестоматийно известной прозой Петра Проскурина (а орловская уроженка Татьяна Грибанова, несомненно, его продолжатель — и продолжатель достойный) в повести дана иная трактовка темы Судьбы. Здесь место Судьбы занял Бог, Бог земли Русской, Русского мира. И в этом я вижу шаг вперед в художественном развитии литературы по сравнению с прозой советского периода. Мир огромен, многолик, переполнен действием и тайной, но и у человека (Божьего создания) есть свое главное, есть возможность выбора и поступка.

...Не пытайтесь оторвать русского человека от истока, от речки Березуйки, не везите его ни в телеге, ни в теплушке на запад, не обманывайте подметными листовками и посулами мировой выгоды. Сохраните от разорения малую родину, а уж она даст сил пережить любые невзгоды. Таково обращение автора повести к современности. И очень хотелось бы, чтобы читатель понял и услышал эти смыслы. Прошлое достойно того, чтобы взглянуться в него и найти ответы на сегодняшние непростые вопросы.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Хоть бабонька она и не из хлипких, но трехмесячное бездорожье под неусыпным бдением немцев и власовцев по брянским и белорусским буграм и гущобинам, по мшанинам, окропленным кровавой брусникой и пенным потом измученных лошадей, давало о себе знать.

Разве ж думалось тогда, в первых числах августа, когда всего-ничего (пять неделек, не боле... только-только понесла)... думалось ли, что всем семейством — и забрюхатевшая не ко сроку Ариша, и искалеченный, лихо припадающий на правую ногу, муж ее Жихарев Роман, и пятилетний сынок их Сергуня — со всеми березовцами... подчистую (беда связала всех в узел)... знали ли они тогда, что спешным порядком выдвинутся в неизвестность... в ихнюю эту, растудыть ее Германию?

А поначалу и вовсе дрогнули. На Ильин день автоматчики согнали прикладами березовцев, всех до единого, в клуб, заперли двери-окна и давай соломой стены обкладывать. Бабы, детишки, конечно, — орали не своим голосом (неделю назад соседний поселок выжгли начисто, народу перегубили — несчетно!) Мужики было подналегли — принялись двери высаживать. Шум, гам, неразбериха!

Но что уж там у них, проклятущих, перекосило, только вдруг примчался какой-то вестовой, закурлыкали на своем и скорее отпирать. Да опять — взашей прикладами: «Schnell! Schnell! Schnell!», распустили по хатам, дали два часа на сборы. Замутусилась немчуря — с Кром-то, оказывается, уже прорывались наши. Сгуртовали фрицы срочным порядком из жителей Березовки обоз и, прикрываясь им, ударились в отход, на запад.

Жихаревы прихватили с собой самую малость, что попало в ту злую минуту под руки. Заскочили домой, в избе еще пахло сыростью не домытого до конца пола, споткнувшись о сдернутые половики, Ариша опрометью кинулась к божнице, успела снять и завернуть в полотенце прабабкин медный складень да небольшую, в побуревшем окладе, иконку Николая Чудотворца.

Под зорким присмотром врага, по делу и без дела зыкающего: «Ш-ш-шевелись!», под хриплый, неумолчный лай овчарок ни свернуть с пути, ни приотстать, ни отбиться от этой огромной ползущий на запад массы не представилось ни единой возможности. Любое отклонение — расстрел... А вослед им слезилась, провожала благословляющим взором, засиротевшая родимая Березовка.

Кругом (не приведи Господь! как не охватит щемящей тоскою сердце?) горели деревни — сматываясь, фашисты не оставляли после себя ничего живого, лишь голую, выжженную землю. Но жидки на расправу! Как только приближались наши самолеты, тут же рассеивались меж телег, особенно туда притулялись, где много детишек.

Гитлеровцы драпали. Лошаденки шли, шли и шли дальше, гуськом, нос в хвост, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге... пять телег — бабы, старики, детишки, потом — немцы, пять телег — власовцы, пять телег — венгры, и опять в том же порядке — пять телег — бабы и детишки...

Мимо еще не разминированных полей, мимо сотен сгрудившихся обугленных танков в местах великих побоищ, мимо изрытых снарядами и минами, с разбитыми столбцами древних русских погостов, мимо огоренных пряслами спаленных стогов, мимо молчаливых, обезумевших погорельцев-старух на останках родимых хат... И глаза снова и снова заволакивало слезами.

Ариша спала с лица. На нем, резко состарившемся за эту осень, посеревшем и обрезавшемся (а бывало-то, солнечней и во все округе не сыскать!), казалось, вдвое укрупнились поблекшие, но все еще розно-фиалковые глаза.

Слез у нее уже не было. Со стороны посмотришь — закаменела, оглохла и ослепла. Скорбящая, она почти перестала разговаривать, ни о чем не просила, прям-таки обезумела, потерялась: день ли, ночь ли — все одно, свету Божьего не различала. И совсем упустив счет времени, стала пугаться наступающего дня.

Запахнувшись в побитую молью плюшку, сидела она на телеге посередине пожженной белорусской деревушки, где обретался, дожидаясь каких-то там указаний германцев их обоз. Несчастливая, обхватив колени руками, лишь мешковато раскачивалась из стороны в сторону. Востроносая, исхудавшая до того, что «нечего в гроб положить», то тихонько, как подступит совсем невтерпех, по-щенячьи скулила, то, опершись горящими, тронутыми тоской и усталостью глазами о поднебесье, прислушиваясь к тому, кто живет у нее внутри, до иступления шептала: «Осподи Иисусе Христе! Буди милость Твоя на сыночке моем Сереженьке, сохрани его под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от него всякого врага и супостата... Боженька Праведный, спаси и помилуй! Помогни... ну, хоть сколечко-нибудь!.. Царица Небесная! Все приемлю на стези моей, лишь пошли моему сыночку с благодатной верой покров Твой!»

Над ней, словно тальниковая зыбка, скрипела и скрипела искореженная, исплакавшаяся последней лиственной ракирка.

Роман не смел заглянуть в Аришины, бесконечно дорогие, позабывшие всяческое терпение, глаза. Чем утетишь, чем обнадежишь? «Пошла вторая неделя, — неотвязно ныло в заиндевелой душе его. — Вторая-ая неделя!.. Жив ли?.. Нет ли?.. Боже ты мой! Будет ли когда конец этим мукам?» — слышала и не слышала Ариша, как сокрушался он от беспомощности, понимая: срочно что-то надо делать... что-то невозможное. Словно пулей прошивало мозг — ужом проползти сквозь власовские посты?.. Вызволить детвору, передувив, укокошив лагерную охрану голыми руками?.. А там — будь, что будет — либо пан, либо пропал!

Не спалось мужику... Не спалось, хоть тресни. Память-то не заспишь, шмыгает, словно тень! Сердце ныло, в душе было пусто. Вот ведь и бывалый он, и кремень, но только смежит веки, ан нет!..

Видно, смертный страх всегда обостряет слух. Все чудилось ему: километрах в шести, к Брусничному, что прикорнуло у самой кромки леса, где уже неделю без него, без мамки своей Ариши, бедолажит отнятый у них фрицами пятилетний сын, с большака свернули замаскированные под санитарные фургоны фашистские душегубки.

— Надо же! Выбраковали мальчугана! Заразный, мол. На территории Рейха такому не место... Да пропадите вы вместе со своей Германией пропадом! Вовек бы ее не видать! — запрыгали губы, подступили — не сдер-

жать — выжигающие глазницы слезы. — Это ж надо, а?.. Малых детишек, воробышков, оторвали от мамок, сгуртовали, держат за колючкой. У кого прыщ, у кого краснуха от пыли-грязи дорожной (конечно, подзапаршивели малость — позабыли, когда и мыслы-то по-людски, у ребятишек — дышки, вшей — хоть венником обметай).

Рази ж спроваживают за такое детей в лагеря? Да и довезут ли их до тех-то лагерей? Может, до ближнего рва? А брешут, мол, на лечение... Пожили при «новом» порядке, всласть насмотрелись. Нет им, душегубам, веры! Эх, Сережка, Сережка! Тебе бы сейчас в лапту играть!..

Обоз проредили как следует, еще под Шаблыкino, в Вербниках огородили вокруг церкви колючкой место, согнали всех от подвод, и давай выдергивать молодежь. Видать, их первыми в Германию спровадили.

Как ни напрягайся из последних сил, как ни обмирай душа, не разобрать за столько верст: птицы ли какие заполошные в ночи кричат, собаки ли там, в поселке, будто кто помер, воют, захлебываются.

— Вроде, палят за мшарой!.. Детвора малая плачет!.. Сережка надывается, кулачками глазенки трет, тятюку на помощь кличет! — била неудержимая дрожь, становилось невоготу тоскливо, отцовское сердце вещевало недоброе, гадало, опасалось как бы...

Так и не забылся до утра. Воротило с души. Помаялся, помаялся мужик под телегой на застланном веретьем лапнике, а чуть забрезжило, хоть и неохота подыматься из угретого телом гнезда, и вовсе выбрался из укрытия. Накинул на плечи потрепанную финскую шинель, служившую ему и одеялом, и какой-никакой одеждой, не по росту длинной, под которой уже не первый год скрывал свой изъян — укороченную на финской правую ногу.

Уселся, сутулясь, на подваленную, замшелую елину. По привычке нащупал, вынул из правого кармана засаленных штанов кисет — это уж первое дело! — нашарил спички, все никак не мог свернуть сигарку, рассыпался и рассыпался табак. Чиркнул, угнувшись от ветра, закрывая ладонями спичку, жадно закурил. Хрипел, сипел, а привычку, страсть свою к вонючему самосаду не бросал.

Роман любил порядок в мыслях. С каждой затажкой прояснялось сознание, и на ж тебе — все горше захолянывало сердце от боли, сжимавшей калеными клещами его виски — уходили часы! — а он не мог найти хоть какую-то зацепочку, все не мог сообразить, как вырвать свою кровинку из огороженного колючкой скотного двора в этом самом Брусничном. Ум за разум заходил.

Безысходным крошечком осыпалась еще одна бессонная ночь.

Затаившись, вставал, просачиваясь сквозь сосенник, еще один беспросветный рассвет.

Роман задавил кирзачом окурок, хочешь, не хочешь — принялся помалу хозяйствовать, налаживать костер. Хоть чай какой травяной сварганит, да кинет в чугунок брикет германской каши (вчера осчастливили нехристи, выдали мизерный, чтоб совсем не загнулись, паек). Кулеш не кулеш, а все ж таки варево. Ариша совсем ослабла, выносит ли дите при такой кормежке — одному Богу известно. Нервы напряжены, душа истомлена. Думки — одна черней другой.

— Коли мускорно на сердце, от всякого недуга, — выплыли из ранних лет наставленья богомолки мамки Степаниды, — пользительна девятичинная просфорка... да чтоб запить пренепренно святою водицей... — где ж ее взять-то, — вздохнул, еще шибче закручинился Роман, припо-

миная, как ласково дышали матушкины ладони — храмовым воском и печной копотливой гарью. — Эх, маменька, маменька, смог бы — в доску за-ради Ариши расколошматился.

Роман подошел к телеге, прикрыл жену своей просоленной мужицким потом шинелью. Ариша — ни слова, ни полслова, зеленый плат ее усыпали красные и желтые осиновые листья, на сведенном морщинами лице нараспашку безучастные глаза.

Береста скрутилась в свиное ушко, занялась щепа, костер засопел березняком, огонь, словно и он отоцал от голода, мигом проглотил сушняк, а кулеш еще и не думал закипать. Роман завозился, загораживаясь ладонью от едкого дыма, пододвинул на середку котелок, принес беремя дров, подкинул последние поленья — в рассветное небо потянулся оживший витой столбец дымка.

Враздежку, налегке он метнулся в лесистую лощинку. Насобирали летошнего валежника, а на обратном пути не стерпел, заглянул в светящийся обочь проселка молодой приземистый дубнячок.

— Так и есть! Время-то — самое что ни на есть подходящее! — обрадовался находке мужик, вытягивая из замшелого пня длиннющие веснушчатые крепыши-опенки. Нахряпал с дюжину — и назад.

Совсем развиднело. Туман уполз в болото. Над островерхими зубцами елей, над позолоченными кронами берез распахнулись, брызнули голубины, первобытные небеса, по крайкам перелесиц заколыхался хрустящий свет.

— Гоподи Боже ты мой! — екнуло, встрепенулось мужицкое сердце, — точь-в-точь нашенские... домашние... Эх, разнебесились! Бывало-то, к ноябрьским выполощутся, выголубятся-а оконца Божии! От Скового до Дмитровска! Заглядень! Точно развернули штапельный отрез, что наградили Аришу в сороковом на колхозном собрании к празднику.

Восток все светлел. Роман остановился и залюбовался: досыпала тишина, в ее полудреме тихонько роняли последнюю листву дерева. «Тинь-тинь-тинь», — перетинькивались желтоперые синицы, шныряли по кустам, славливая последних мошек. Там и тут просыпалась, чиликала, тонкала орава лесных птах.

В кустах завозилось, и из елани послышался и растаял в шорохе хвои хряст сучьев, на поляну выступила лосиха с сохатенком. Боднула впереди себя рогами, покопытала и, всхрапнув, потянув ноздрями воздуха, так же, как и объявилась, неприметно исчезла. И почудилось Роману, будто он, как бывало, сбегал с утраца в лесок за опятами и ходко торопится домой, подивить Аришу.

— Накось, рóдная, полюбуйся! Околь Сычина на опушку выбежали.

— Жареха будет знатная, хочь всю деревню созывай! — ахнет, бывало, только и молвит еще парная ото сна, с гладким лицом, с неубранной косой жена... и, покоя на выпирающем животе сцепленные руки, блаженно озарится по-детски нетронутой печалью улыбкой.

— На поверку! — загавкали, заразорялись, обходя подводы, конвоиры.

Роман очнулся. Отряхнув с картуза рыжие хвоины, взвалил на спину утянутую ремнем вязанку, сгреб подола рубахи, покидал туда добыток и опрометью кинулся к обозу, напрямки через татарник, через горбатый, как кочатыг, овраг, шею свернуть — запросто!

— Только бы успеть! — метнулось удушливо в мозгу, — только бы

уберечь оставленную без призора Аришу от допроса этих цепных псов, мол, куда за ночь мужик подевался, не к партизанам ли убер? И так издергалась вся голубка...

Нет-нет-нет! Полетело все в тартарары! Все разом порушилось, сама земля уходит из-под ног. И — вишь ты! — даже гроздья ягод на калине, будто застывшие капли крови!.. Нет больше родных штапельных небес, ни зашкварчат на загнетке сдобренные луком да чесноком грибочки... не пошлешь Сергуньку обежать деревню, созвать родню на доброе застолье... Ни к ноябрьским, ни к майским... Вишь, как разгыркались христопродавцы! У самих к земле родимой лютая оскомина, крутая злоба, и нас на погибель за собой на чужбину тянут.

Роману подфартило. Охранники — два власовца и Сазонов Митроха (не какой-то чужак и приبلуда, а их, березовский, мужик, вроде и не прожженный сукин сын, но, прошел слухом, еще в сорок первом подавший вору в прислужники) — задерживались, остервенело спорили, матюгались почем зря у соседней телеги. Видать, обнаружили какой лакомый кусок и никак не могли меж собой поделить.

Неужто среди слегло-прокисшего скарба: провонявших лошадиным потом хархаров, старых хламид, чугунков, влажных фуфаяк, белокрайных штопаных-перештопаных подшальников и другой, прихваченной наспех, наваленной как попало домашности еще могло-таки затеряться что-нибудь ценное? За месяцы пути все мало-мальски стоящее десять раз перепродано и перевыменяно в редких полууцелевших селищах.

— Ну, как там Арина-то? — кивнув на телегу, не стерпел, с ухмылкой полюбопытствовал, оцупал Романа мутными (видать, со вчерашнего) глазами Митроха. Но, пожившись от его жгучего взгляда, приметив, как заиграли желваки на ввалившихся, заросших серой щетиной скулях, как напряглась рука с дубовой орясиной, отпрянул, опасаясь, что Роман не сдержится, не сладит со всем тем, что долгие годы накапливалось в его сердце, уходит насмерть. Обернулся к власовцам и, брызнув сквозь зубы слюной, крикнул: — Жихаревы, стал быть, все... две души! — и прошипел, зарекаясь, — ну-ну, я не гордый, подожду. Будете еще мне ноги мыть, да юшку пить.

Едва Митроха ретировался, Роман кинулся к жене. Шинель сползла с ее плеч, а ей будто и нипочем, вовсе не чуяла утренней осенской прохлады. Еще перед зарей вспомнила вдруг о чем-то и сейчас развязала узелки, медленно и копотно возилась в них, занятая своими думами, все не получалось у нее сыскать чего-то очень нужного, схватого на самый черный случай. Хоть телега и не безмерное хозяйство, а вот поди ж ты! — запрятала и сама позабыла куда.

— Ай чего потеряла, Аринушка? — спросил крадущимся полупшепотом, по-детски беспомощно Роман.

— Это чей-то он? — облокотилась на тележные грядки, будто не слышала мужниных слов, вымолвила она раздумчиво-надтреснуто побелевшими от гнева губами. — Чего?.. Совсем что ли обасурманился или мозги пропил? Поди, считать холуй разучился? Кого из себя корчит-то? — Ариша вскинула на мужа воспаленные, заостренные от бессонницы, в чернильных полукружьях глаза и, не позволяя усомниться ни Роману, ни кому-то на целом свете, не горячечным шепотом, а отверделым голосом на сдавленном дыхании припечатала: — Четверо нас... Жихаревых! Чет-ве-ро!..

«Должен! Должен же быть какой-то выход! — до самого полудня, как

в наковальню молотом, било в груди сердце, не находил себе места Роман. Не мог он за просто так позволить сгинуть его первенцу, не мог подвести эту сильную женщину, свою жену Аришу. Знал бы, что смерть его затчется во спасение Сережки — умер бы немедленно.

2

А что духом Ариша сильна, так это точно. Проверено, и не раз. Вот взять хотя бы зиму тридцать девятого... Да нет, намного раньше... И Роман канул, окунулся в те, как теперь казалось, далекие-далекие годы...

Они ведь с Митрохой-то — годки, с четырнадцатого. Оба потеряли в гражданскую отцов. Когда в девятнадцатом Деникин попер на нашу округу, в бою под Звягинцево оборвались жизни их родителей, бившихся тогда под Кромами и Дмитровском против беляков рука об руку с красными латышскими стрелками. И покоятся Петро Жихарев и Данила Сазонов после прокатившихся по землице нашей братоубийственных ураганов рядышком, в одной могиле.

Может, оттого что судьбы отцов их переплелись, теснее не бывает, возрастали Роман с Митрохой корешами, не разлей водой. Вместе шпингалеты по соседским бакшам лазали, вместе потом у костра обжигались поделенной поровну печеной картохой. Вместе с другой пацанвой, когда от мала до велика под Троицу собирались на Сенькином лугу, ходили с мужиками «край на край».

Как раз тогда, в малолетстве, и обменялись они тайно (время-то какое!) медными нательниками... а значит, и судьбами. Знали, всяк православный знает, что «крестованием» установили они промеж собой по обоюдной воле побратимство. С тех пор они — крестовые братья, и крест брата своего должны нести, как свой собственный. И еще взяли они на себя обязательство молиться друг за друга и помогать друг другу, как братья по крови.

А в тридцать втором Роман с Митрохой, сговорившись, сгребли свой нищенский скарб и, несмотря на материнские вопли, одними из первых оттащили его на обустройство только-только начавшего гуртоваться колхоза «Светлый путь».

Но случился в их жизни случайный случай, положивший начало великой вражде, порушившей их беззаветное братство, послужившей запевом к долгой горючей песне.

Как ни тужились березовцы, а колхоз еле-еле сводил концы с концами. Да что говорить? Заголодали! Просвета не видать. Лебеда да мякина, мякина да лебеда. У Романа — двое братишек голоштаных, в кармане мышь прогрызла дырку. А у Митрошки — и того пуще — четверо сестренок, а дыр в карманах и вовсе не счесть. Вот и попутал их черт, взял, и вправду, измором. С голодухи, значит, и приключилась с ребятами беда.

Годков по восемнадцать-девятнадцать о ту пору им стукнуло, на деревне, да без отцов — мужики мужиками, ненабалованные, некогда шалыганить да в подкидного играть. В работе на земле не бывает скидки на возраст.

Сеяли они на пару озимые за Кривым логом. И как уж там случилось, только смотрят, а в сеялке, по закрайкам, осталось с четверть мешка ржицы. Эх, знать бы тогда, что играют-то с огнем и как распорядится их судьбами тот соблазн!

Но не устояли парни перед искушением (почему, гадать не приходится), и припрятали под ветошкой в амбаре у Романа то злосчастное зерно. Даже поделить не успели.

Все у Романа с Митрошкой было в молодости на двоих да поровну, без дураков. И, если говорить начистоту, как нередко случается, когда встали уж на ноги, и любовь настигла их одна на двоих. Да, да, она самая, Аришей звать. (Видать, сразу двоим так на роду было прописано)... Тут-то и встала меж ними загвоздка, тут и вырос несусветный, непримиримый на всю остатнюю жизнь раздор. Точно бес вставил промеж них шилья.

Любовь-то, Аришу, на двоих не разделишь. Все было: и матерились парни до тошноты друг с дружкой, и кулаки чесали за девку. Да не тут-то было! Целый год так и велось: днем — по-прежнему вместе, а как подступает темень — порознь. Правда, тропки все одно сводили их у Аришина крыльца, над которым дурманил липовый цвет. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Роман.

— Кипяток кипятком не остужают. Хочешь, нет, а решать что-то нужно, — зная, что и Митроху голыми руками не возьмешь, не стерпел он, наконец.

Ну, мало-помалу сговорились они с Митрошкой не топтать больше Аришин палисадник, не таскать ей охапками сирени. Кого сама в первый день на покосах окликнет, того и счастье. А кому не повезет, пусть не юлит, завет не нарушит, а будет первым дружкой на свадьбе названного брата.

Помнится Роману, будто только вчера это было... Утренняя прохлада переходила в знойкий день. Солнце переполняло мир искристой радостью. Замашная Кулига благоухала запахами ромашки, полынка и отцветающей черемухи.

Там, у молочного, ржаного поля, на обочине, полной медушника да кашки, затюкало сердечушко девичье вразбой, и окликнула Ариша Романа... Какой же свет хлынул тогда в его душу! Не передать!

Свадьбу решили сыграть на Покров день.

Тридцать третий ничем не отличался от тридцать второго: голод, неурожай... Но молодость есть молодость. Роман не ходил, а летал над землей, и счастьем их с Аришей, несмотря на худое житье, казалось, не будет конца... немеряно.

Нагрянули в обеда, за неделю до свадьбы. Председатель Кузьма Лексеич, комбедовцы. Роман — ни в дудочку, ни в сопелочку. Пришли, значит, не громыхнув в ворота, законники и не стали церемониться — прямой наводкой в амбар, схватили вора за шиворот, не отвертеться.

— Э-эх, негодяй бессовестнай, без ножа зарезал стервец анафемский, острамил мать на весь белый свет. Лезешь в волки, а хвост — собачий! Есть ли у тебя башка на плечах-то? Укради иголку — все одно: вор! Взять бы дрючок, да сдернуть с тебя порты! Драсьте, пожалуйста! Слыханно ли дело? От кого-кого, а от сына героя, павшего за Советскую власть, — отбрил хриплым шепотом, присовестил с какой-то обезоруживающей простотой председатель, — такой подножки не ожидал, надеялся я, что по отцовской струне ударишь. Удавить тебя мало за энтакие дела, — и пасмурно, с горчиной, посмотрел в набежавшую толпу. Возмущенно нахлобучивая треух, вышел, перекинув за спину худосочный мешок. Норов-то у председателя был не голубиный.

Ариша, замачивавшая в тот день с бабами коноплю на торфяниках, узнала о несчастье только поздно вечером, когда Роман был уже далеко от Березовки...

— О-ох! Гроушко-о! — не зная своей беде ни названья, ни предела, закричала, точно кончалась, как водится, в голос, ахнула пронизанная дрожью, похолодевшая, будто пришибленная громом, девка. Тело ее опустилось и обмякло, а к ночи и вовсе — свалилась она в жару: то ли застудилась, уж и тальники с морозу коченели, — лапти с онучами промочила в тот день у воды до ниточки, то ли не смогла снести внезапного удара судьбы. Только провалилась она в бреду, с ног до головы охваченная жутью, до самого Зимнего Николы. Да и потом до крайнего новолетья все-то ей неможилось-горбатилось, все-то на печке отлеживалась.

«Ну, откуда выплыла наша с Митрошкой тайна на людской суд, и куда запропастился закадычный дружок, — все пять годочков, обретаясь на казенных харчах в краях, отдаленных бездорожьем на тыщи верст от Березовки и от всего мира, томился Роман от мучительно-неизъяснимой обиды, раскидывал и так, и эдак умом, гнал от себя смутные подозрения. Не было мира в душе его, все-то глодали сомнения, не хотелось верить в Митрошкину пакость. Начередил друг-приятель! Но, видать, правда, говорится — волк коню не свойственник.

А ведь тогда — пыль столбом! — на сход припелся весь честной народ: зеваки тыкали в него пальцем, горланили, но были и такие, кто не стерпел, заголосил: «Прощевай!», жалостливо закрестил вослед тронувшуюся в путь телегу, на которой двадцатилетний Роман, накинув казинетову поддевку, покидал: «Ну, оставайтесь с Богом!» и родимую Березовку, и несчастную мамку свою Степаниду, с вечно усталыми глазами, с дотлевающей в них тихой вдовьей печалью, у которой всю жистюшку — семь понедельников на неделе.

Прибежала, принялась она совать сыночку узел с насушенными за ночь на жаровне, промоченными ее слезами ржаными сухарями. Оставлял он на нее двух малых погодков братьев. А что горше всего — расстался с нареченной своею, Аришей, не ведая, скрепится ли, дождется ли она его.

А она — накось! — хоть и время почало ржаветь, травой порастать, хоть и обмирало сердечушко девичье от щемящей тоски по любимому, скажи кому, не поверит — дождалась! Чего только не натерпелась за эти, показавшиеся безрассветной ночью, годики! И в душе, и в хате — сквозняки, и моросит, моросит, как из сита частый дождь. Но знала край, блюла себя девка: греха за ней никаковского не водилось.

Увидав вернувшегося Романа, кинулась к любушке, заплакала легко и благостно. Прильнула к его груди, просветлела лицом, словно в годовой праздник. И уже ни на минуточку от себя не смогла отпустить... Знать, до гроба ей по суженому своему с ума сходить.

Ариша не стала рассказывать (по какому такому случаю? и без нее найдутся любители почесать языком, глазом моргнуть не успеешь — вмиг Роману в уши надуют, что ни слово — яд), как обивал ее порог все эти годы женишок Митрошка, как не давал поводьрь проходу ни ей, ни батяне ее.

Надеясь, что капля камень точит, подбивал склонить за него несговорную дочку: «Ишь, заартачились! Вы подумайте только! Умерьте гордыню-то! Ить скоро никто и замуж не покличет, а она все ерепенится! Разуйте глаза-то: двадцать четыре, а все еще не забабилась, по нашим меркам — перестарок».

— Ну, прямо в гроб вогнал! Чистый пиявка-прилипала! Рази ж могу я обнесчастить собственное дитя? Кто ж в наше время силой выдает? — не лез в карман за ответом Аришин отец.

А однажды и вовсе вот что случилось.

Стояло красное летичко, ведренный июнь. В жиденьком мареве то-нули горизонты. Пели коростели, кумокали кузнечики. Ветер не трепыхал ни листочка. Был канун Пятидесятницы. Небо белое-белое, молочное. Чиркни о воздухе спичкой — вспыхнут. Солнце совсем сдурело, кропило горячими каплями, жгло землю на прожег, до самой что ни на есть сердевины. Губы спекались от жары.

Ветер крутил песок на переезде, подымал облака пыли, кружил их вдоль Березовки, выгонял на проселки. Морила несусветная сушь. А тут ночи две подряд за Ерошкиной балкой вроде запогромыхивало, закурилась молочная морока, как-то чудно закучились Стожары. И вдруг тишина приключилась такая, аж уши заложило, только одиноко в этой дремучей тиши в Звень-лесу грустила кукушка. Небо защурилось, заморщилось, воздуха напряглись — того гляди треснут.

Митроха на порожняке возвращался на Сивом Красной ложиной из Больших Хомутов, дело уж к полудню. Глядит он: хоть и висит еще пропахший цветущей рожью да ромашками зной, но все же насупилось — откуда что взялось!

На макушки Фомкина леска поползли сизые кули облаков, сверкнуло раз, другой и так ударило, что Сивый зафыркал, заржал от страха, показалось: яблоки скатились с его рябого крупу, шархнулся до дому напрямки, внамет, не разбирая проселка, из всех своих стариковских силенок.

Небо подернулось ватагой облаков, и они испуганной отарой нестриженных ярк побежали над окрестностью куда-то в дальние лога, за правый берег Березуйки, заполоненный тальниками и торчащими меж них мшелыми камнями.

В темной сини купола зашелестели, захлобыстали, как пакли, тучи. С небесной кудели швыдко-швыдко засучилась конопляная пряжа. И ухнул ливень, стеной! Такой, что, показалось, снова разразился Потоп. Правда, земля под ним не успела остыть, от нее навстречу струящимся небесам восходил ласковый пар.

Дорога кисла киселем. Грязь, лихо высверкивая из-под колес, залепила Митрохину рубаху и порты. На выветренном месте, по спуску реки, телегу заносило в сторону, срубая красные головки татарника, ставило поперек дороги. Сивый, напрянув уши, скользил по сметанному раскату.

Наконец, миновав за хворостинником Кобылий лужок, расхристаные там и тут недометанные стога, Митроха, прищелкнув кнутом, выскочил на березовский проселок, что желтоватым ужином завился, завихлялся промеж сизоватых полей. И тут нос к носу парень столкнулся с окутанной рожью Аришей. Аж покачнулся от ударившего в голову хмеля, как солнышко из-за облака явилось.

В одной руке — насобирала девка меж колосьев и расстаться не хочет — промокшая охалка любимых цветов-васильков, в другой — кузовок с первой, крупной, но еще белощекой земляникой. На животе, в кармане подвязанного передника, пригоршень десять лугового щавелю, да столько же стручков молочного хрусткого гороху.

Вышла из дому ни свет, ни заря, когда еще идти легко и прохладно. Но за полдня так ухайдакалась в Горонях! Успела присмотреть: «Орехов

нынче — пропасть, не забыть бы с Дашкой под Успенье как-нибудь после дойки забежать. Пудовик, не мене, можно натаскать».

Правду сказать, хоть и притомилась Ариша, но довольная — не зря протоптала ноги. Надышавшаяся росой, свежестью леса, луговыми травами и цветами, возвращалась она по мясистому, расхристанному ливневыми потоками проселку в Березовку.

— День добрый, Арина-свет-Демидовна! — натянул вожжи, притпрукнул Сивого Митрошка, — с добытком!

— Спасибочки! Подсобрала малешки! — поравнявшись с подводой, Арина на ходу скрутила, отжала подол бумазейной юбки, затушевалась, кинулась оправлять облипшую одежду.

На ресницах ее дрожали капли, от швыдкой ходьбы на щеках полыхал, раскраснелся румянец, отчего еще лише блестали берестяные, кипенные зубы.

— До деревни — версты две с гаком, пристраивайся, ягодка, — засматривая ей в глаза, заломил козырек картуза, подвинулся было на телеге, не скрывая радости, загуторил парень.

— Да теперя вроде как и ни к чему: почитай — наскрозь! Уж не обессудь, прогуляюся, дож-то, гляди, какой тепленный, — опять заотнекивалась несговорная.

Так и не уступила Ариша. Стало быть, так было угодно Богу. Со стороны посмотри кто — диву бы дался: хоть и приустали ноги, прошлепала девка-то по лужам, перебивая рассыпчатым смехом шелест затянувшегося дождя, то сбиваясь на обочину, утопая босыми ногами в мягкой резеде, до самой деревни, не порадовалась подвернувшейся подводе. Подивились бы и вознице: не огрел мерина хворостиной, не помчал опрометью — рубаха-то к телу прилипла, — спасаясь от прорвавшихся небес к жилью, терпеливо, даже довольно, махнув рукой на проливенный дождь, кинул на холку поводья, ехал себе обочь зазнобы, подстроив Сивкин шаг под Аришин.

А девка скинула набрякшие башмаки, сполоснула их в луже и, перекрестив ремешки, перекинула через плечо, бойко зашагала по густому, оладьевому тесту проселковой грязи, по разливанному морю луж аккуратными, облепленными мокрым травяным крошечком, ножками. Из-под пятки чвиркали ошметья, во все стороны разлетались серебристые брызги. И сама Ариша — да начихать ей на ливень! — серебристая. Молодая, звонкая, задорная!

Ветер рвал подолья, ноги выше колен, до самых бедер заголял. Поначалу-то, чтобы побороть грех, Митроха все угибался, ввела его Ариша в краску, хоть и нарочно не норовила, а все одно — сверкая крепкими икрами, нехотя дразнила девка парня всем своим видом, всей своей недоступностью насмехась. Что ж, дело молодое.

Разве от такой зажмуришься?.. Аль молоком по заре умывается? Губы красные, как калина. Брови, как горизонт. Кофтенка к тугим грудям прилипла, сосцы ядреными орешинами сквозь зелененький, в мелкий белый горох, ситчик на волю рвутся. На крыжовниковых бусах вдругорядь отвисли дождевые. Исполоскали ее ветер и дождик — до ниточки, места сухого нет. Каждый бугорок, каждая лощинка на виду. И даже с телеги, чуялось Митрошке, тянуло от Ариши распустившейся мятой.

— Не дай бог, кто встренится или выгладит! Станут потом обсусоливать, пойдут разные намеки-экивоки! — застесняла девка Митроху, а может, просто пожадничал, не хотелось делиться только ему выпавшей минуткой, любованием этой нетронутой спелостью.

Косы ее золотые, что еще спозаранку, свесив с парной постели ноги на половик, уложила она, подоткнув нарядным гребешком, в великолепную корону вокруг головы, — хоть выжимай. Вода с них алмазными струйками стекала по спине, по крутым, с блюдцами-ямочками на ягодицах, бедрам, блескучими ручейками прокрадывалась за распахнутый беленький воротничок, ныряла серебристой рыбкой в трещинку меж наливными, словно крупнющие сентябрьские штрифилины, грудями, сбегала по животу, омывала крепкие загорелые лодыжки.

Смотрел на нее Митроха, и кровь бушевала у него в жилах, аж дух перехватывало: «И все бабы в их роду таковские!», — мутилось в глазах, видел: во всем ее теле зреют, разливаются по всем жилам сладчайшие соки. Как же мечталось ему утолить ими свою, ничем иным незаглушимую жажду.

«Неужто не добыюсь?.. Неужто не моя будет?.. Как же без нее жить-то стану?» — вихрилось в голове, волновалась его кровь.

А через пару дней или через неделю, уж и не помнит Ариша, шла она от подружки своей Настенки, припозднилась — уже совсем свечерело, солнце часа три, как потонуло за хутором Троицким. Погасла заря, и над овинами выплыл месяц с белыми рогами. Сиреневый отсвет лег на плес, на небесных полянах выпорхнули и задрожали удаленными мотыльками малахитовые звезды. Лощины закалили сизыми дымами. Пролилась июньская ночь, льняная, голубая-голубая.

Улочки в Березовке по кругу ходят, вихляют. Митрошка, приметив с вечера, куда подалась Ариша, дождался, когда она домой засобирается, и — не будь дурак, — чтобы приловить ее у калитки, резанул угол, рванул напрямки — через перекресток объезжих дорог, притаившимся в глухой крапиве пересохшим ручьем, лопушняком, меж ронявших пухи ветел.

— Ни жисти, ни покою без тебя, девка, нету! Всю душеньку ты мне измочалила, без тебя мне — могила, — в анисах, у Федосьиной горожи, заступил Митроха Аришке дорогу. — Что ж ты со мной делаешь-то, приходя?

И, не владея собой, сгреб девчонку в охапку. Аж в голове помутилось, как уперлись в него ее пружинистые, сочные груди, дышащие июньскими травами, Бог знает, чем-то еще завораживающим, как почуял ее горячее дыхание, ее теплую влагу губ.

Ариша заотпихивалась, зашумела было на Митроху, но кожа ее пахла немислимо желанным, и уже выше его сил было разнять свои руки, выпустить попавшуюся, наконец-таки, заветную Жар-птицу. И Митрошка, не помня себя, не выпуская из объятий Аришу, сминая духовитые зонтики анисов, опустил наземь.

Как нарочно — ни души! Только слышно сквозь стрекот кузнечиков, как у сарая, на вольном духу, Федосьина корова вылизывала спину своему малолетнему телку.

— Ну, не пужайся, не пужайся, дурочка!.. Вишенка ты моя! Ягодка! — зажимая Арише ладонью рот, шептал, задыхаясь, Митрошка. — Разве могу тебя обидеть? Я ж только поласкаю, — в предчувствии чего-то неизведанного обмерло сердце, по спине пробежала радостно волнуемая дрожь, и парень, дорвавшись (знала бы девка, как изнылось по ней его тело!), кинулся жадно ее целовать, гладить ноги и плечи.

То ли цветом каким диковинным пахло из Федосьиною палисада, то

ли с задворок тянуло дурманной сладостью, руки парня потеряли контроль, и, как только Ариша это почувствовала, рванулась и со всего маху залепила парню оплеуху, со всей ярости плюнула в нависшего над ней Митроху, прямо в лицо.

— Ах, так! — навалился на ее колени еще крепче Митроха, придавил девчонку, подобрал подол и задрал на голову. — Все одно буду первый! Кричи не кричи — моя!

— Ишь чего уздумал, припадочный! До чего докатился! Девоч портить пригрезилось, сильник?! — Ариша замолотила по его спине руками, закусалась, забрыкалась что есть мочи. — Тронешь, паразит, — дня не проживу, нынче же сигану с крутояру в Березуйку, а не то на тополе супротив твоей хаты повешусь — плевое дело! — заартачилась девка, как обухом шарахнула парня по голове.

И ослабил Митроха руки, и кольнула проснувшаяся мысль: «Надо же, как не люб! Накося, выкуси — кукиш под нос — словно отравы в душу влила... Отпихнула зазноба, будто моток пряжи отбросила!» — и, покорившись опутавшей его участи, бессильно скатился с Ариши в анисы.

А девчонка — лызы! Из-под него выскочила, прижалась к городьбе на осыпанную мальвовым цветом стежку — розовый полушалок свалился под ноги. Покуда будет жив Митрошка, не забыть ему, как сверкнули, заполыхали ее глаза, как рванула она со всей мочи частоколинку от палисадника бабки Федосьи. Вместе с гвоздями! И откуда духу-то хватило?

— Не подходи таперича, дьявол ты эдакий! Христом Богом прошу, не подходи! — дрогнула в гневе крылами разлетистых бровей Ариша, гордо откинув голову, тряхнула гранеными в три нитки бусами, вспыхнула белыми, как сахар, зубами, прикусила до крови губу. — Запорю, не сумлевайся! Вот те крест — запорю! — смерила его девка с ног до головы, а сама торопливо одернула подол, оправила растрепавшиеся косы, и все тряслась, тряслась, словно осина, мелкой дрожью, казалось, готовая вот-вот решиться на невозможное.

Митроха не на шутку перепугался (а то! досель еще ни одной бабы не касался), душа в нем запища-ала! Схватился за голову, заломило виски: совсем с катушек слетел, до чего девку довел!

Еще не осознавая до конца, что только что потерял, не обрета, Аришу на веки вечные (говорят же старики, мол, раз оборвешь — уже без узла не натянешь), застегнул ремень, заметался из стороны в сторону, отыскал в подлунье закатившийся в траву картуз, отряхнул об колени.

— Ну, что ж, ходи нераспечатанная! На «нет» и спросу нет... — и, пристально взглянув в лицо, — для Ромки что ли бережешься? — только и обронил и, не дожидаясь ответа, обессиленно вздохнул.

Через минуту встрепенулся, перекинул через плечо пиджак и нарочито спокойно зашагал прочь.

— Не ожидал я, что так противен тебе... Прости ты меня Христа ради! — в десятке шагов, ссутулившись, овладев собой, вдруг обернулся.

— Слопал, охальник! Иди уж... Бог простит!.. Такие дела сердцем надо решать, — утерла губы краем кофтенки Ариша.

Стожары помutilись над головой. Откурекали вторые петухи. Девичьим кленовым гребешком сронился в придольные стога молодой. Потухли, ахнув, следом скатились в Березуйку первые звезды. Где-то «чижа-лехонько» закрипели нетерпеливые колеса.

Честно говоря, никогда потом ни Ариша, ни Митроха не напоминали друг дружке о той встрече поздней ночью в Федосьиных анисах. Мало ли чего в жизни случается? Лучше уж не ворошить... Так и остался тот случай тайной за семью замками, а со временем и вовсе почти порос забвением (времена-то подступились какие тяжкие? все, что произошло меж ними, показалось баловством).

И Роману о том происшествии Ариша не осмелилась за всю их совместную жизнь обмолвиться.

«Зачем его с Митрошкой еще лише стравливать, на драку науськивать? — прикидывала, рассуждала она сама с собой наедине. — Ведь у них из-за меня друг с дружкой нелады. Кто его знает, как надумает расквитаться Роман с соперником? Далеко ли до беды? И так не могу дожидаться рóдного... Да и Митроха... не со зла ведь... Видать, взаправду, любит...»

А она любила Романа. Любовью сокровенной, все стерпящей. Сколько свечей за-ради него Богородице переставила! Жалковала по нем — не передать! И Святого Николая Угодника тоже молила о нем денно и ночью. Митрошку жалела, но ни умом не принимала, ни душою. И ничего с этим поделать не могла. Да, по правде говоря, и не хотела: «Вот те Бог, а вот порог!»

Ну, не зря ж говорят: «Руби древо по себе!» Такая вот печальная история, и «отдавал себя Митроха за Аришу замуж», но так и не расщедрилась судьба, не поднесла ему подарок — хоть и прилип он к девке, как банный лист, не сложилась у них семья...

3

Еще в тридцать третьем, когда уж совсем было запогибал колхоз, удумал председатель, хозяин-то он рачительный (а может, бабка Спиридониha ему присоветовала, всегда у нее в погребе капуста до новолетья водилась), теперь уж все равно, кто там подкинул Кузьме Лексеичу мыслишку, только ударился он в разведение капусты. В общем, если говорить кратко, сам захворал этой думкой и колхозников заездил, сбил с панталыку (сбил не сбил, а ведь дело-то выгорело!) Настропалил, мол, «и уходу особенно за этой овощью ненадоть». А и правда, какой особый уход? Роскошь небывалая — знай, поливай. К тому ж не уморно, воды в Березуйке еще, слава Богу, черпать не перечерпать, на тыщи лет вперед хватит.

Как порешили, так и стали отводить колхозные поля из года в год по левой, низменной стороне Березуйки, в основном под «Славу». Но выращивали не только озимую — кормиться-то надо круглый год — не забывали и про яровую. Парников своих пока не держали, а потому рисковали: как спадут мало-мальски морозы, как обтеплится чуток поле, сеяли по два зернышка в одну лунку прямо в вешнюю землю. И Бог миловал: еще ни разу приречная земля не подводила. В убытке не бывали.

Хоть Ариша и доярствовала, но как подвалит, бывало, капустная страда (обычно на Сергия, восьмого октября), чтоб управиться к Покрову, и их, коровьих нянек, уламывал председатель подмогнуть полевым работницам.

И в тот год, как вернуться Роману до дому, взяли Аришины товарки на свой обиход ее буренок, а саму ее прикомандировали к «порубно́му» амбару. Чтобы не перекидываться кочаньями, теплушку эту туточки и притулили, на бережку. Вокруг него сладили деревянные настилы, вроде завалинки, только широченные. И по осени у Березуйки уж какой ок-

тябрь высилась поднебесная гора капусты — проходи мимо чужак, ни за какие коврижки не догадается об том сараюшке — под крышу обложен побелевшими после первых заморозков кочанами. Сладили буржуйку (дров — полные сени). Сарайчик тот разве что невзначай выдадут голубые дымки от печурки, вытягивавшиеся в тонкую струйку по осенской стыни до самого поднебесья.

Заквашивали капусту только на растущей луне, караулили, верили — как старикам не верить? — тогда она будет твердой и хрусткой.

Перво-наперво мужики прикатывали вымачивавшиеся все лето на омутке осиновые кадки и кадушки, дальше бабы брали дело в свои руки — ошпаривали их крутым кипятком, вытирали досуха тряпками. Окунали в вар и собранные на правом, каменистом берегу Березуйки тяжи — пригнетные камня.

Остриюцами ножами отсекали от кочанов верхние (зеленые) листья. Вырезали кочерыги. У мужика все сгодится в хозяйстве — листвою этой зеленушной выстилали донья кадок. А кочерыжки наперебой расхватывала крутящаяся под ногами детвора.

Наступал самый работной, но очень задорный час. В огромные деревянные корыта устанавливали бурачные терки и да-вай наяривать! Вжик-вжик — таял вилок за вилок.

Капусту сдабривали ягодой-калиной (плетухами надирали ее в Богачовом лесу), выскобленной, натертой на той же бурачке морковкой, посыпали ядреной солью и анисом (благо приправа эта не заморская, куда ни протяни руку — повсюду, бери не хочу!)

Рядами, на середину бочки укладывали вылежанную антоновку, целиковые, что подробнее, вилки. А то додумались — нашмыгают на терке лосточками красной свеклы — сыпанут в кадушку. Замалиневеет капуста — красотища! Вроде и не капуста это вовсе, а какой-то ненашенский продукт, поди разберись.

Утопчут квашенку, что есть мочи, проткнут черенком деревянной, добела выскобленной лопатки, до самого донца кадушки, закроют тяжелищами деревянными кругами, сверху придавят их голышами-каменьями — и в погреб.

Убрав продукт в кадушки, как дойдет, уже к Зимнему Николе, примутся колхозники торговать им на орловской, кромской и дмитровской ярмарках.

Под Сергов день, когда заканчивалась копотня с последними бочонками, и тут не ко времени, — что ты будешь делать! — раскунежилась, захворала Дарья Синицына, Аришина напарница по «порубному амбару».

Ариша-то, конечно, — что ж тут хитрого? — догадалась, смекнула о Дашкином обмане, но не стала совестить бестию, чай и правда, Сергов день на пороге. А бабонька она, хоть и на два года помлаже Ариши, семейная — успела, не поленилась со своим Федышкой троих «сострогать».

Вот и поди попробуй теперь поворотись: ребятишки — мал мала меньше, мужик по ночам докучает, а спозаранку, еще затемно, на ней коров колхозных — аж три десятка, да и по дому, на подворье, как никак, тоже прибратся надобно.

А под Престол — и вовсе: печку подзатри-подбели, холодец притоми-разбери, квасу кадку-другую заведи, самогона бутылки три навари, меньше никак нельзя, сродственников полна горница набьется, дня на три, не мене. А закуски? Ну-ка, мыслимо ли дело: на такую «компань» одной настрять?!

— Ладноть! Чего уж там! — махнула тихо и кротко на Дарьину уловку Ариша. — Покуда одинокая, куда ж деваться, пособлю колхозу и за себя, и за товарку, ить на ей обуза — тройка детворы...

Роман постучал, когда она, босая, зардевшаяся, с еле прикрытой грудью в нижней одежде — левая брителя сорочки спала с плеча, подол подъюбки на обеих бедрах подоткнут под резинку — дотаптывала последний десятиведерный наполь. В перетопленном амбаре пять туго набитых кадушек уже кучились у дверей, поближе к прохладным сенцам.

— Кто тама? Заходи — открыто! — не вылезая из кадушки, подбоченилась, дала она добро неожиданному гостю.

Поторапливалась нынче завершить засолку — кровь из носу. А уже засумерничало, луночь облился на взгорье бор, а в нем и вовсе — уже часа три, как висела кромешная темень.

Роман так и застал ее в жаркой томи теплушки на верхотуре наполненной капустой бочки, остолбеневшую, не сумевшую вымолвить даже словечка от нежданного счастья. Кинулся, обнял Аришу, уткнулся в ее просоленную подъюбку. И, держа свою любушку, словно свечку, не стерпел — плечи его затряслись... Ариша присела на корточки, обняла его, молча гладила, гладила по голове, не перебивая, дозволила мужику справиться с собой.

А потом они наперебой до глубокой ночи рассказывали друг дружке, как дожидались их души этой встречи, как сжигала дума, как неизбывная боль бередила их сердца, как хворали они от безывестности, пока Роман валил в Сибири лес, пока летело на не шибко быстрых крыльях для них времечко. Как засыпали и просыпались с мыслью, что рано ли, поздно наступит срок этой, самой заветной, минуточки, и жизнь потечет по новому руслу: без омутов и камней.

О том, что поладили они, не дозналась, как ни суровила свои смурные очи даже пронырливая октябрьская ночь — сквозь алый Аришин плат, накинутый на обвязанное паутиной оконце не особо-то что доглядишь. К тому ж рядом, на взгорье, во бору, падая, щелкали-перещелкивались расперившиеся шишки.

Разве что досуший ветер, прислонив ухо к амбарной трубе, мог подслушать страстный шепот Романа: «Зоренька моя!», жаркое дыхание Ариши: «Любый мой!» или хруст сминающихся капустных листьев под их молодыми телами. В ласковых отблесках притомившейся буржуйки не разобрать уже и самому Роману — листва ли сияет капустная, нежно-атласная, кожа ли Аришина, гладкая, упругая. Весь он, до самой малой капельки, до самого последнего дня своей жизни, во власти этой непостижимо притягательной женщины. За пять лет как повзрослела-то его любимая, округлилась, где положено, выладнилась! Даже мысли о ней, а не то что прикосновение, всегда опяняли его тревожным желанием, зажигали кровь, дурманили сердце, а теперь и вовсе.

— Спасибо тебе, Господи! Что снизошел до нас, услышал наши молитвы, — кланялась Арина, благодарила Всевышнего.

И снова обвивала желанного своим телом, ласкала лебедиными крыльями и таяла, таяла, хрусткая и тугая, в волосатых, загрубелых от топора и кирки, крепких, но таких родных и нежных Романовых руках.

Пахло печеными на буржуйке антоновками. Скрипел обмятый до земли ворох капустных листьев. Она подымалась разгоряченная, потягивалась, согнув кольцом над головою руки, привстав на носки, лениво и

страстно, дзенькала о ведро корцом, подавала его Роману с молодым чуть розоватым рассолом, словно с каким приворотным любовным зельем.

— Пряма-таки мед! — утерев со лба пшеном осыпавшийся пот, он пил взахлеб. Солончатые струйки сбегали по Романовым усам, растекались по обветренной, загорелой коже, и он снова переполнялся силой.

Ариша склонялась над ним, не позволяя растеряться драгоценной влаге, подбирая, пригубляя ее, чуток горчащую, душистую, лепестками своих разгоряченных малиновых губ.

А он, ее единственный, ее до остановки дыхания желанный... он зацеловывал, изласкивал ее от макушки, от золотистых завитков на покрытой едва приметным пушком розовато-парной, как у младенца, шеи до раскрасневшихся пальчиков ее ног, насквозь пропитанных рассолом. На них, на аккуратных ступнях и пяточках, все еще пестрели прилипшие, белые — капустные, рыжие — морковные, лосточки.

Проголодавшись, уже к утру, они таскали из плетухек скобленную морковку, хрустели капустными хряпками, благо корзинками с кочерыжником были заставлены все амбарные сени.

Обезумевшая от свалившейся на ее голову внезапной радости, Ариша сияла: то невпопад плакала, то до слез смеялась.

— Ничего! Ничего! Слаще будет капуста, — не отпуская ее ни на минутку, улыбался, все не мог наглядеться, Роман.

Он брал руками ее лицо, долго и пристально смотрел в осиянные глаза и исповедовался, исповедовался... Выплескивал в самую глубину девичьего сердечушка все те думки и чувства, что берег для нее в самых запovedных уголочках своей искалеченной души все долгие, пересыпанные колючим сибирским снегом, прокаленные сиверком, тяжкие годы разлуки.

— Свет мой ясный, радость моя! Суженый мой долгожданный! — светила она счастьем.

— Господи! Как же боялся я позабыть твой голос!.. Говори... Говори, родная! — закапывался Роман в ее пшеничную замать...

А на Покров тридцать восьмого, через неделю, как вернулся Роман из краев суровых, лесоповальных, сошлись они по закону (а чего теперь дожидаться — так задумано было еще пять лет назад). Расписались, значит, в сельсовете, веруя, что отныне, после стольких мытарств и страданий, ничего и никто на всем белом свете не сумеет их разлучить, помешать круто посоленному Аришиными слезами счастьем. Свадьбу не шумели, справили по-свойски, семейно.

Хоть и молод был Роман, а уже здорово хлебнул лиха. Но среди всех злоклучений любовь его на колючих сибирских ветрах не только не остудилась, а того пуще — распалилась незатухающим пожарищем. Начиная он на все пересуды-ухмылочки — набрешут что попало пустоболты, языки-то у баб — помело, а не языки! — балагурят, мол, гляди, не промахнись, паря, стопроцентовая ли девка-то? Вся деревня глаза пучила, зазря что ли Митроха за краевой твоей хвостом увивался, быть того не может, чтобы не свалялась она, страмница, с Митрошкой. Эдакий крутень свое, мужицкое, не упустит.

Едва ли не на следующий день, как объявился Роман в родимой деревне, Митроха, забубенная головушка, чтоб не закиснуть, как двухнедельный квас, не сказав ни здравствуй, ни прощевай, первой попуткой «захвисталупил» из Березовки — да потуда его, перекаати-поле, и видели!

Куда занесла его утлая жизнь? А кто ж его ведает? По всей стране росли тогда, словно под Успенье в Зарядье по дубовым пням опенки, но-

востройки. Может, на Балхаш завербовался? Наши туда поискать достатка (за морем-то телушка — полушка) валом повалили. Поговаривали, дескать, мотается Данилы Сазонова сынок по свету, на одном месте полгода не задерживается, видать, надеется словить, самую что ни на есть Жарптицу. Что ж? У каждого своя колея.

Молодые не больно-то приняли к сердцу его исчезновение — пускай себе шатается по свету — они налаживали судьбу, одну на двоих, порушенную Митрохой на пять лет.

Роман, мужик смекалистый, покрутился неделю у старенького ХТЗ, что-то прикрутил, что-то подмазал, глядь, зафырчал, уготованный было на слом тракторишко, и к несусветной радости председателя Кузьмы Лексеича снова натруженно затарахтел на березовских полях.

Ариша по-прежнему бригадирствовала на ферме, а кому ж еще-то, если не ей? Жадная до работы. Растворялась в ней. Хваткая, убористая в хозяйстве, к подушке прикасалась урывками, самую толику.

Переполненная любовью и радостью, понесла она с благословения Богородицы в первую же ночь своего замужества, на Покров и, вылелеяв дите под сердцем, разрешилась накануне Петрова дня белобрысенским мальчиком Сергуней.

4

Теперь тому — века. Взвенела полузабытая песня. Наладилось... конечно, бы все наладилось... Чего ж не жить-то в эдакой любви до самого смертного дня? Но так извечно ведется: большой любви — большие испытания. По силе духа, видно, и крест.

До глухой Березовки докатывались черные вести из охваченной войной Испании. К тому ж Федор, Николая Страчева сын, гордость отца, кадровый военный, по первопутку, в канун солнцеворота, ни с того ни с сего объявился на отцовском пороге. На побывку... или передышку?

— Изранены-ый! — зашептались, опершись на горожу, деревенские, и поползло от хаты к хате, — прямо оттудова...

Защевелилась деревня, слух ведь, хоть и крадучись, а бежит неуследимо... Потом и того пуще — загуляли толки о том, что Гитлер затачивает зубы оттяпать у соседей землицы, насколько рот разинет. Заволновались старики на завалинках, зачастили к словоохотливому и общительному, травленному в окопах Первой мировой германскими газами деду Нехаю. Тот, безобразный от болезней, старости и худобы, выложив мосластые с шишковатыми пальцами работные руки свои на пыльную бобылью столешню, чертыхался, разглагольствовал, разматывая нервы, скручивая козью ножку, продрогло ежился, утирал рукавом слезящиеся глаза, суровя брови, на все бока крестил «ерманца» по матушке.

— Ой, лишенько! — запричитали, запроклинали разом, как по команде, войну-разлучницу, сжавшись от страшного предчувствия березовские бабы. Видать, сызнова засосало у них под сердцем, забила лихорадка, заскулили охолостелые — мало ли слез поглотали? Им ли, не так давно перебедававшим гражданскую, только-только начавшим очухиваться, не знать: война — такое дело: заварит кашу — ведром не расхлебать. Закрутит она, как цыган солнце, весь белый свет... И прижилось в Березовке какое-то пронзительное ощущение надвигающейся чудовищной опасности. Тихо, с оглядкой (газеты-то кричали о мире с Гитлером), начали поговаривать о неминуемой беде.

«Господи ты, Боже мой! Кажись, цельная вечность прокатила с той, мирной, поры... Вспоминать — только душу рвать. Не вернуть! Не вернуть уже прежней жизни. Слишком много чего нежданного-негаданного стряслось: Финская... потом, нешто легко, кому скажи — двадцать два месяца под немцем... А теперь вот и вовсе через пень-колоду — сорвали изверги с насиженного места, пусть и разоренного, «наушшал» порушенного, а все ж таки, как ни крути, рódного, и гонят падлюги под автоматами не понять зачем в свою Тмутаракань», — снова полез было за кисетом Роман.

Оторвав кусочек от свернутой в несколько раз власовской листовки, он пробежался глазами по строчкам: «Едрить твою налево! Это ж надо как оплетают! «Русский народ — равноправный член свободных народов Новой Европы!» — сплунув под ноги, крупно выmaterился: — Прихвостни фашистские, брехуны! А по какому такому праву тогда вы, сволочи, меня, равноправного, от моей хаты, от поля моего, с такими муками на край свету турите? Да еще и под дулами автоматов?»

Вытряхнув из кисета последний табак, свернул сигарку. Настоящей махорки он не нюхал уже, почитай, года два (бывало-то, в углу бакши каждый год высеивал он «свойский» на кусочке — сажень в ширину, три сажени в длину). Сельповские папиросы — как ни экономь-таись, кури не кури в рукав — в глаза не видал и того боле. Да и запасы свойского, огородного, табачку поиздержались. И Роман, как и весь курящий деревенский люд, по привычке не понять к чему.

— Рази ж энто табак? — от души выматюганился Роман. — Так, одно прозвание — «БТЦ» («бревна, тряпки, щепки»), а где разживешься махоры? Слухи доходят, в самой Москве восьмушка махорки стоит двести рублей... Подумать только!.. А раньше-то — всего-ничего — сорок копеечек! Поминай, как звали!

Втягивая прогорклый дым глубоко в легкие, Роман поймал себя на мысли, что с некоторых пор стал разговаривать сам с собой. Козья ножка затрещала, будто в нее насыпали не крошево палой листвы, а порох, посыпались искры. Роман заотмахивался от них, словно от назойливых болотных гундосиков — и так вся рубаха и штаны в мелких прожженных дырочках. Глаз да глаз с таковским табаком — того гляди сам пыхнешь или задымится на телеге веретье.

Он совсем было собрался припрятать (на очередной перекур) листовку, да глаза выхватили рядом с разлапистой паучиной свастикой портрет Гитлера. А чуть ниже, видать, от его имени: «Мы объаты безграничной любовью и преданностью своему народу. По той же причине мы уважаем национальные права других народов. Поэтому не преследуем цели германизации. Мы рассматриваем окружающие нас европейские народы, как объективную реальность».

— Еще один брехун!.. Заглавный! У-у! Гадючье племя! Людоед проклятуций! Сдохлыми б воронами тебя накормить! — прохрипел Роман, не пожалев бумаги, скомкал ее что есть мочи и швырнул в прогорающий костер. Печатные буквы запрыгали в глазах, строчки с гитлеровской трепней заморщились, поползли и осыпались прахом.

Сигарка отпыхала. Набитая не махрой, а чем попало, она не заглушила голод, не успокоила нервы. Но если бы не перепадало совсем никакого курева, тогда б и вовсе — хоть вешайся! Единственная утеха. Именно она, сигарка, служила сейчас Роману тоненькой палочкой-выручалочкой, не позволяющей окончательно потерять голову.

Еще в Березовке, выискивая хоть какую замену табаку, чего только он не перекурил! И хмель, и даже зверскую, вышибавшую слезу смесь из коры и сухих дубовых листьев. В зависимости от степени крепости мужики прозывали ее: «Вырви глаз», «Матрас моей бабушки», «Стенолаз» или «Сено, пропущенное через лошадь». Кому сказать, Роман пробовал курить даже мох. Но, собранный в бору — бейся не бейся — он отдавал сосновыми смолами, всяким-разным, чего душа Романа напрочь не желала принимать, после таковской сигарки его выворачивало наизнанку, а тогда и вовсе наступал крах.

Бабка Косениха, пользовавшая березовских от больших хвороб и малых болячек, присоветывала вовсе покончить с куревом. И Роман вроде бы сдался (чем притерпеть таковские муки!), даже засушил, разузнав что к чему, по косенихиной подсказке, мол, отобьет хотенье напрочь, каких-то там трав: подорожника, чабреца, пижмы, малины, земляничника, кажется, даже крапивы и лещинника с дягилом.

Пробовал он бросать курить и уже в пути — на Брянщине, а в белорусских дебрях заталкивал в сигарку еще и собранный по ложбинкам можжевельник. Хоть и давала бабка голову на отсечение, что травки эти безотказные, но, как дома не помогало, так теперь уже и подавно на них надежи не стало.

Ариша, вытряхнув из телеги, наконец-таки, все хархары, наводила в их дорожном хозяйстве порядок — снова укладывала «добро» меж лесенок. Оставив жену за этим занятием, Роман — до вечерней поверки еще э-вон сколько! — надоело щепотью одалживаться — спровадился в ближайший, почти уже начисто обципаный октябрем, лесок в надежде «подсобрать табачку». А по возвращении собирался подправить обротя.

Самокрутки из сухой листвы в народе прозывались «Золотая осень». В ход шли листья и осины, и березы, и дуба, и клена. Роман пристрастился к «берклёну» — табаку из смеси березово-кленовой листвы. И сейчас покинул он Аришу на самую малость в поисках того, без чего душа его, кажется, и вовсе разорвется от тоски по сыну, от стыдóбы за беспомощность.

— Фрицы-то — не дураки, сигареты у них что надо! — спускаясь в поросший высоченным иван-чаем овражек, снова заговорил сам с собой Роман. — Немного, правда, но приходилось пробовать, угощался их куревом: и R6, и Ernte 23, и Reval, и даже Rot-Handl. Но, видать, попривжало и их, отошла лавочка, если больше не шикуют, в паек своим прихвостням, хлоп-тебе, подкидывают «картонные» эрзац-папиросы. Правду сказать, они совсем не пыхают, не искрятся, как наши, да и не горлодеры.

В продрогшей рассветной сини в пору листобая клубилась туманистая сыворотка. Зыбкий свет предутра уже явственно обрисовал корявые, заинделые, точно посыпанные солью буро-зеленые можжевельники, глинистый косогор, вдоль которого, подальше от сырости, полторы недели назад тормознулся их, обреченный неведомо на что еще, табор. Там, откуда он пришел, с восточного края бора, над поросшей зелено-золотистым рассыпчатым мхом грядкой болотной ольхи, забাগровелась полоска зари. По елани, прижавшейся к густой стене леса, вспорхнули вяхири.

Легкий морозец выпил в мелких лужицах вдоль заросшего вереском проселка прозелененную муть воды, настоящую на ядреном черничнике. По протычинам взвенивал коловшийся под сапогами слюдяной ледок. Последние капли воды брызгали разбитым стеклом. Натоптав березовой

и дубовой листвою чувал, Роман, хрястая сучьями, стараясь брести в разбитых кирзачах по сушняку, листвою опаде (искалеченная нога вовсе перестала слушаться, не промочить бы), повернул назад. Натоптался сегодня, намучил ее — казалось, вовсе стала чужой. Глодала без продыху, как собака кость, налилась свинцовой тяжестью, «драла́», белого свету не взвидишь.

Еще издали заметил он исчезновение Ариши.

— Может, к Лимпиаде отошла, на другой конец обоza, — поначалу-то попробовал он утешить себя. — Бог ведает, мало ли какие промеж них свои, бабские, дела водятся, но душа зачужала недоброе, похолодела, сжалась.

Роман до рези в глазах всматривался в растянувшийся на две версты обоз. Но прошел час, другой, Ариши нет, как не бывало. И он, обеспокоенный не на шутку, позабыв о грызущей боли в ноге, шараясь, обонкал обоз из края в край, до хруста в позвонках вытягивая шею, обыскал его воспаленными глазами — никто не видел, никто не приметил, куда запропастилась баба. Делать нечего — пришлось, запыхавшись, кинуться к старосте — Лукьяну Кузьмичеву. Мол, так и так, отлучился на минутку, а жены след простыл.

— Раскудахтался!.. Сышшится!.. Что ты в самделе, хужей маленького! Куды ей, такой-то, от обозу отбиваться? — староста со знанием дела отмахнулся от Романовой заботы, опорожнив стакан, прислонил к носу ломтик хлеба, понюхав, заводил скульями, поросшими лешаниной. Пожевав, подцепил из жестянки кончиком на зубуренного ножа добротный кусман немецкой тушенки. Ударив по донышку очередной бутылки, выбил бумажную затычку.

— Сама найдетса! Разя кому теперя Аришка твоя нужна? — подмигнул смеющимся глазом, опростав стопарь, Митроха. Поддакнув начальству, тряхнул головой, занюхал мутную свойскую щедро откромсанным ржаным ломтем, хрустнул соленым огурцом (вчера пошарили на соседнем хуторе, приперли ведро бочковых).

Уже изрядно наклюкавшийся, в стельку хмельной, с рыбьими холодными с перепоею глазами, выеденными до дна самогоном, скривив в усмешке губы, ошивавшийся постоянно у Лукьяновой телеги, он насаживал на прутик сало. Горящие капли жира, роняясь на уголья, вкусно пошипывали. Роману явственно было видно, как судорожно заходил Митрохин кадык, а лицо его, словно дурной знак, скукожило щемящее чувство тоски.

А ведь видел, подлец! Уж с кого, с кого, а с Жихаревых-то он глаз не спускал, видел, как еще несколько часов назад, озираясь, проколтыхала Ариша, минуя коряжник, к видневшемуся на взлобке, почти стертому с лица земли, селенью. Останавливать не стал.

«С такой прытью все одно никуды ты не схолишься, не улизнешь», — ухмыльнулся во след ей Митроха, не помчался наперескок. — Из-под зэми найду!

Всерьез обеспокоенный, скисший Роман снова пустился в обход обоза — вдруг все-таки кто вспомнит, может, часа два-три назад встречал Аришу.

А пропавшая баба в это самое время, догадываясь, что муж проглядел уже все глазоньки, высматривая ее среди обозников, закрывала калитку одной-разъединой уцелевшей хаты, вышедшей к обочине села Заозерного.

Хоть и тяжко на сносях опухшими с голодухи ногами шоркать по изрытому ухабинами и воронками, заросшему сергибусом, непрямому ходоками, — кой год, кто ж его знает! — проселку мимо развороченной белой, с ржавым кособоким куполом церкви, мимо спаленного поля выколосившейся ржи, обочь заманных, мутно-голубых стекол болотного озера, мимо припогостных, облепленных перегыркивавшимся вороньем, ракиток, мимо возвышавшихся посередь погоревших подворий, устремленных в самые небеса печных труб, но умотавшейся Арише шлось все ходчее и ходчее.

Очень уж хотелось ей поскорей развернуть перед мужем спрятанный на груди узелок, показать бесценный добыток: три сваренных вкрутую яйца и шматок... с Серезкину ладошку! — прогорклого, изжелтившегося, еще довоенного, салыца.

— А баушка-то, баушка! — осветилась еле приметной улыбкой Ариша, — ишь ты как! Не надобно, говорит, мне твое кольца. Ай, я молодка какая? Знать, обручальное?... Совесть-то ишо имеется, не всю войной отшибло, кто ж с «тяжелой» возьмет? К тому ж, где это видано — у нас так-то не водится — чтобы бабе на сносях отказать. Последний кусок, и тот подашь... А сама-то, поди, позабыла, как пахнет по подворью хлебным духом... Ах, ты, баушка, баушка! Ну, спасибочки тебе до земí, горемышная... Не забыть, не запомнить мне твое селеньица придорожно-го, доброты твоей бесценной. Как не молиться мне теперь об тебе до скончания веку?..

— Что ж ты из меня сердце вынаешь, Аринушка?! — с несуетной радостью ласково сердчал, словно вяхирь гурковал, выговаривал Роман жене. — Могла бы и понять — с ног сбился, как в землю канула!

— Т-с-с! — жена прижала палец к губам, — живая я, живая! Раньше смерти-то не помрешь! Не простились — значит, встретимся — нарочито строго сдвинула брови Арина.

Почувяв, что силы совсем оставляют ее, поскорей расстегнула нижние пуговицы потрепанной своей плюшки, размотала мохрастые концы сбившегося на бок подшалка, неуклюже, боком, боком, придерживая уже явно выказавшийся живот, опустилаась на клубоватую дерюжину, раскинутую по горе лапника, вытянула гудевшие, в побитых ботах ноги к кострицу: — Щас малешки вздохну и обскажу, чин по чину, куда меня нынче носило.

Роман не торопил ее с рассказами, не лез с расспросами. Ариша рядом, а это — главное. Все остальное, слово за слово, рано или поздно, прояснится, не к спеху. Налил в плошку кулеша, принуждая съесть до капельки, — знал ведь, что с утра у нее во рту маковой росинки не было.

— Погодь, погодь ты, Романушка, с едой-то, — наконец, не стерпела жена, отодвинула кулеш, загадочно блеснула своими усталыми фиалками, — допреж того поглядит-ко за-ради, чего я так долгонько пропадала, откулева притопала, — и вынула, развязала схороненный на груди ситцевый узелок: три куриных яичка и брусочек сала. — Для Серезки... сбирайся... как хочешь расстарайся, только уломай нехристей, чтобы дозволили сына проведать... Мне-то за шесть верст ни за что не дотопать, а ты завтра с зарей отправляйся... Там, справа, за чувальниками, — Ариша кивнула в сторону телеги, — засунь руку в солому поглубже — нащупаешь тряпицу. В ней — шаль моя пуховая... Нашла все ж таки... Возьмешь. Охранника подмаслишь.

Роман знал, как дорожила Ариша этой самой шалью, доставшейся ей в не шибко богатом приданом, как берегла она ее, как просушивала-проветривала летом на солнышке, на вольном духу, как красовалась в ней в холода, в самые большие праздники: разве что на причастие, да в Престол день, ну, еще на Роштво накинёт, да на Хрещенье... А после снова пересыплет полынью от шашала — и на самое донышко своего приданого сундука, аккурат до следующей зимы.

Но помнил Роман и то, как в лютые холода у них, в Березовке, зимой сорок первого — сорок второго немчура куталась во что придется: в ход шли даже бабьи плюшки, не гнушались фрицы и шаями. Пошурует Ганс у баб в шкафах-чуланах, перевяжется крест-накрест раздобытой белокрайкой и не так уже страшны ему наши забористые морозы. А уж козья, пуховая, хоть кого из них введет в соблазн. Немец — herr запасливый: того гляди, сиверко потянет, а там — недалеко и до холодов, не устоит, как пить дать, не устоит перед Аришиной шальюшкой.

«А все ж таки, правда: умница Ариша-то, светлая головушка! Ишь чего задумала! Может, и выгорит. Может, и повидаюсь с Сергуней, — Роман поставил плошку на пенушек рядом с забывшейся от усталости женой. — Знать, не спробовать нам с тобой нынче, рódная, жарехи-то», — еще не осознавая окончательно, зачем, сгреб утрешние красноголовики и, позабыв о смертной боли в ноге, о ломоте в коленях, уже в подступающей темноте двинулся к старосте.

«А чем черт не шутит? Может, все ж-таки попервоначалу с Митрохой потолковать? Хоть наверняка — от ворот поворот, но вдруг все-таки у стервеца окаянного совесть прорежется? Ведь крови-то на нем все ж таки по сю пору не было», — прикидывая, с чего бы начать разговор об отлучке, неожиданно мелькнуло у него в голове. И тут, не осилив еще и полпути, Роман сустрелся с бывшим другом: — Ух, ты! Пряма из-под зéми вырос!

— Я — на базар, а он — с базару! Это по какой такой жгучей надобности на ночь глядя отлучка? Ай, жена опостылела, на девок потянуло, — ехидно, уничтожающе прищурив глазки, завыкобенивался, сразу вскинулся на дыбы Митроха. — Мотри у меня!

— Заботы нынче другие... не до баб, — выдавил из себя, пробурчал как можно спокойнее Роман. — На ловца вот и зверь бежит! Надо б перекинуться с глазу на глаз.

— Это кто ж из нас ловец-то? Уж не ты ли будешь? С какого перепугу? — вылупил на него, гоготнул в ответ полупьяный (видать, уже приговорил поллитру) Митрошка.

«Только б скрепиться, только б не сорваться! — норовил остепенить себя Роман, — Матушка Царица Небесная! Угодники Божи! За-ради Серезки пошлите терпения».

«Жидок на расправу! Вот она, долгожданная минуточка! Как же грезила она мне все эти последние десять лет! — с малолетства зная натуру бывшего дружка своего, возрадовался про себя Митроха. — Ишь какой кроткий стал, как есть голимый, прям-таки курябчик исклеванный!»

— Потолковать бы, — не отступал Роман.

— Потолковать, говоришь, приспичило? Что ж, можно и потолковать, коли есть об чем, дело-то нехитрое, — набычился, снова закозырлял, уверенный в своем превосходстве Митроха. — Только разговор у нас случится сурьезный... Сурьезней не бывает... Язык-то не отсохнет?

Ты, друг мой ситцевый, может, никогда и не задумывался, тебе и на ум-то не приходило... зачем тебе надоть-то?.. что жисть мою в раскрутую дужину согнул, на такой вузляк завязал, что вовек не распутать, рази что одним махом рассечь его к чертовой бабushке... А скажи-ка ты мне, будь ласков, как, на твой вкус, с энтакрой судьбиной, никчемной, беспечальной, легко ль уживаться: ни Богу свечка, ни черту кочерга!

— Ты вон об чем! Пустопорожний разговор! Ни к чему мне попреки твои выслушивать. Плетешь что ни попадя: ни уму, ни сердцу. Прожитого не воротишь... Сколь годиков-то кануло, а, видать, сердце-то стоном стонет, не остыло?

— А рази ж есть какая разница: сколько — год ли, десять, сто... коли сошелся на ней клином свет. Думаешь, мол, было да прошло? — поник вдруг, словно пришибленный, Митроха. — Давай начистоту: вот гляжу я на нее — Аришу мою... супружницу, значит, верную твою... хочь заморушной вовек не была, но похужела, расхристанная (дак кого ж такое житье красит?), и снова от тебя, мужа своего разлюбого, брюхатая... Гляжу на нее и сам себе дивуюсь, а по большому случаю кляню себя, что есть мочи... за слабость эту свою роковую. Только ведь куды ж от ней деться-то? Ночь-полночь разбуди, дажить в бреду горячечном не отрекусь я от нее... Пытай, каленым железом жги — нет для меня на цельном белом свете, Роман... — понимаешь ты ай нет? — бабы твоей, Ариши, дороже... Да, видать, уже и не сыщется... Столько раз сливался с ней мысленно!.. Меня не знает любовь, зато знаю ее я... Ну, и как прикажешь мне с тобой со всем этим по одной земли ходить, одним воздухом дышать?

— Места всем хватит... Не знаю я... Дело хозяйское... Судьбу на коне не обскачешь... Какой я тебе подсказчик?.. И без твоей исповеди все помню. Пусть даже и так: насыпали, не желая того, на хвост тебе соли... Только все одно некому нам с Аришей окромя тебя поклониться, некого умолить... Да и время дорого. Коли любишь ты ее — не зверь же ты распоследний, — коли правду только что тут, на этом самом месте, сказал, а я верю, что так оно и есть, так пожалей же ты ее, разнесчастную, закрой глаза, не гляди в нашу сторону всего несколько часов. Дозволь мне отлучиться от обоза. Истосковалась она по дитю, посылает меня в Брусничное, к Серезке — ей-то уж куда там! Помоги, Христом Богом тебя просим. Может, и свидеться с сыном больше не представится случая.

— Ишь чего захотел, гусь жареный! Заголяй зад! Больно надоть! А фигу не нюхал? Накося, выкуси! Пущай Ариша сама попросит! — не тут-то было, зафордыбачился, будто крутым кипятком обдали, на губе сигаретка прилипла, «заклятый друг».

— С кого ж ты, ирод, веревки вьешь? Вот она, любовь-жаль твоя, на поверку-то каковская! Поневоле скажешь: у-у! клоповье отродь!.. Вот тебе и все мои осанные слова. Только б, как и бывалоча, об себе рóдном, да об себе, — испепеляюще посмотрел на него Роман, закипал, того гляди, замахнет саплеухой.

Митроха молчал. Наплыло внезапно, припомнилось ему почему-то, как, кажется, в сороковом, зимой, когда, поколесив по стране, наконец, решил вернуться, осесть в Березовке, тормознул он на выезде из райцентра попутку, перемахнув через борт полуторки, уселся поближе к капоту, на солому, рядом с закутанной в шаль молодой бабьей.

Стукнул кулаком по крышке кабины: «Поехали!» В машинной утробе что-то лязгнуло, дзынькнуло. Мотор, подсобравшись силенками, взревел. Тронулись, покатали, заподпрыгивали, закидало, замотало на переметах.

Смотрит Митрошка — себя не помнит от радости, глазам своим не верит — Ариша! Забилась от сиверко в уголок, мальчика белобрысенького, годков двух, укрутила крест-накрест белокрайкой, собой прикрывает. А он — любо-дорого! — в зеленке, распытнистый. Все наружу из-под мамкиной плюшки лез, любопытничал без боязни, ни мороз, ни ветер ему нипочем. Разговорились, конечно. Из райбольницы ехали, то ли от ветрянки, то ли от крапивницы какой-то там спасались.

И вот что примечательно, что сразу резануло Митрошке слух: хоть и канул тогда без вести Роман где-то в финских сугробах (Ариша о своем горе и рассказала), хоть и надежи уже никакой не осталось, а она, поди ж ты: что ни слово — о муже. И так всю дорогу до самой Березовки... И ни одного худого слова, все «Ромушка да Ромушка»... Господи! Что бы только Митрошка ни сделал, взгляни она на него своими фиалками, хоть в полглазка, так, как смотрела всегда на Романа! Кого винить?.. Аришу ли за ее неприступность, себя ли, дурака? Угораздило же зародиться беспросветным однолюбом! Вон сколько баб, девок кругом красивых, а вот поди ж ты! Видно, на роду ему прописано с покорностью принимать свое горе...

— По тебе, так все ерунда... Тебе до души моей и дела никогда не было... Ты ж и не ведаешь... откуда тебе? — глухо рыкнул, очнулся, наконец, слушавший вполуха Митроха. — Как воспрял было я духом, как возрадовался, когда затерялся было на Финской твой след... И откуда только тебя леший принес?

— Зря-то не мели! Как не понять? Ясней ясного! Да знаю, знаю я, что на дне твоей душонки прееет... Ну, извини, друг-товарищ, что живой остался... Правда, искромсанный. Может, посовеститься перед тобой за везуху, за свое прогорклое счастье? — не стерпел, сжал, напряг узластые кулаки Роман. — И позволь у тебя по старой дружбе поинтересоваться: как так получилось, где тебя черти носили, когда я пил финский ветер, коченел в сугробах под Суомуссалми?.. Да арапа-то не заправляй!

— Ты-то пропал, — совсем протрезвел, не обращая внимания на вопрос, продолжал Митроха, — а любовь, как объяснилось потом, такая штука — об колено не переломишь.

— Вот тут ты прав: не зря ж говорят, коли она, любовь-то, взаправдашная, так и за тыщи верст сберегает... Знать, и за меня вступилась... Ну, а где ж ты, женишок, все ж таки обретался? Что за потаенное место такое? Только мне-то ты лапшу на уши не навешивай, не брешь, все одно не поверю, мол, броня и все такое прочее. Ишь ты, какая фигура в нашем государстве незаменимая!

— Не тебе судить: кого на передок посылать, а кого и побережь. Ты вот скажи лучше, что мне теперь, когда все козыри в моих руках, с вами делать-то? Может, порешить обоих разом? Сколь можно с вами чикаться? Надо же когда-нибудь положить этому конец! — досадливо поморщился, передернув затвор винтовки, зыркнул ледяно на Романа Митроха и затрясся от хриплого смеха.

А тот, позабыв вдруг себя — плевать, что у вражины винтовка, что дружки его, власовцы, с автоматами рядышком, на подхвате — накинулся со всей яростью на Митроху.

— Ну, ты тово!.. Полегче на поворотах! Придушу! Ты что ж, гад, сказал? Не велико геройство-то с автоматами-винтовками против баб да таких, как я, воевать. Э-эх ты!.. Я к нему, как путному, а он, траглодит!.. Людского ли ты роду племени или змей подколодный? Совсем спятил?

Пужать вздумал? Так я давно пуганый, еще в сороковом на погосте прогулы ставили. Столько находил и терял!.. Перед кем ваньку-то валяешь! Я ж тебя, как облупленного, знаю, дажить то, чего ты об себе и не ведаешь, — глаза, как шилья, прохрипел Роман бывшему другу в самое ухо, рванул ворот его рубахи, защелкали, посыпались пуговицы, — ай, креста на тебе нет?

Из отшвырнутого в сторону узелка под мягкий шум хвои просыпались опенки.

— Да как раз крест-то на мне есть... сберег... А может, он меня?.. Смикитил, чей крестик-то?

Роман отступился на расстоянии вытянутой руки.

— Ладно, настырный, не ерепенься, разбалакался тут, как в Березовке на завалинке, — вдруг смягчел лицом Митроха, поостыл, запереминался с ноги на ногу. — Твоя опять взяла! Не мотай мне душу. Все нутро переворошил. Иди уж... завтра с утраца, как зазорит, сразу после поверки, только никому не вякай, — и тут же, — если что — прикрою. Куда ты от Ариши денешься?.. Да и я — тоже... — чуть помедлив, добавил, — а опенками небось Лукьяна подмаслить надеялся, на закусон нес? Дак этого добра, харчу-то у него ажни цельная телега — хочь пруд пруди... Дождайся от него поблажки!.. Помнишь, у нас по первому холодку их у кривого дуба, бывало, косою коси, — нагнулся, подобрал самый маленький грибок, понюхал, — Сычиным логом пахнут... родным углом, — вскинул винтовку на плечо, отвернул бараний воротник своего короткого шубейного пиджака и пошагал прочь, растаял в чернильной мути осеннего вечера.

— Все! Видно, солнце завтра с другой стороны взойдет!.. Ну, не подкашляй, друг-товарищ! — и Роман поспешил обрадовать жену.

6

То ли оттого, что уже и мочи никакой не осталось — почти не смыкал глаз, так, урывками, с самой той минуточки, как различили его с сынишкой; то ли из-за сегодняшней внезапной пропажи Ариши — как вообще, мотаясь вдоль обоза в поисках жены, с ума не сошел? — а скорее оттого, что объявился в его безысходном отчаянье самый малый, чуть затеплившийся огонек, обкумекав с женой десять раз, и так, и эдак весь долгий завтрашний день, свернул клубком, уложил в котомку ее праздничную шаль, тряпицу с заветными бабулиными яйцами и кусочком сала, засунув в потайной карман (не приведи Господь, потеряется, вдруг да сгодится?) серебряное колечко, все то же самое, Аришино, обручальное, Роман, наконец-таки, сморился, упал замертво по сутемени на сосенник под телегу и очнулся только по закрайке зари.

Лунная ночь сердце теснит, а коли луна полная, так и подавно — вгоняет в тревогу и тоску. Ночь замерла, словно глухое болото — не течет, не всплескивает.

Даже во сне память перебирает обретения и утраты-потери: мелкие, покрупнее. Вроде спал... а вроде нет... так явственно, словно оттикало время назад, в зиму тридцать девятого-сорокового, он снова прокатился за эти несколько часов на широких северных лыжах не одну версту по занесенным снеговертью под самый завяз, стылым сосновым борам, по усыпанным крупными мшистыми валунами, звенящим от хрусткой наледи финским просторам.

— Э-эх! Митроха, Митроха! И чего ты, зуда, зудишь? Тебе бы побы-
вать там хоть денек, к примеру, в сороковом, на другой день Роштва,
восьмого января. Познал бы там, на Раатской дороге, что есть взаправду
та-та привередливая Кузькина мать, может, как небо скукожится в самую
малую овчинку, как завывивают зубы Комаринского, опосля не до чужих
баб станет, не вспомнишь, как батька с мамкой назвали... Нетрошки ца-
рапнуло меня там...

А тогда-то вот как было. Роман, отбывавший в тридцать девятом под
Ленинградом действительную, знал о той, незатяжной, но страшной сво-
ими неоправданными потерями войне не понаслышке, пришлось хлебнуть
лиха на самой что ни на есть передовой. Вся подготовка его к этой север-
ной войне свелась к двухнедельным тренировкам ходьбы и съезда с гор
на армейских лыжах в городишке Пушкино.

Потом чудом уцелевший в Суомуссалмском котле, пьяный и, каза-
лось, счастливый на всю оставшуюся жизнь, не раз повторял он одно и
то ж прознавшим о его невероятном спасении мужикам, собравшимся
послушать солдатские были и небылицы под вечер в его хате за выстав-
ленной по такому случаю обезумевшей от счастья Аришей (глядела,
глядела на воскресшего и наглядеться не могла) бутылью свекольного
самогона.

— Любой-кажрый понимал — как не понять-то в ту, предгрозовую,
пору? — случись беда, подыми фост Германия, — а они с Финляндией в
дружбанах, — что тада делать? От финской границы до Ленинграда — ру-
кой подать. Айда, не зевай! Захапает... как пить дать, захапает ворог наш
славный город в первые же дни войны... а можа, и в первые часы!

Война, уж коли она приспичит, заварится каша, никого не минет,
всех — от мала до велика — затянет. Селяне не пропускали ни одной ве-
сточки о боях с финнами. Собирались в конторе, замирали, припадая к
бумажной радиотарелке.

Из сообщений по радио знали в те окрестные времена и они, что,
упредив нападение германской коалиции на наши рубежи, Красная Ар-
мия с тридцатого ноября 1939 по двенадцатое марта 1940 разворачи-
вала боевые действия на трех направлениях: первый удар — на Карель-
ском перешейке, где велся прорыв «линии Маннергейма», второй — по
Лапландии, чтобы не высадились союзники финнов со стороны Барен-
цева моря.

Роман же очутился на третьем направлении — в центральной Каре-
лии, в районе Суомуссалми — Раате, где Красная Армия, надеясь без осо-
бого напряжения разрезать территорию страны надвое, намеревалась выйти
на побережье Ботнического залива, в город Оулу.

— По такому случаю, — хмыкнул Роман, — предполагалось даже, что
по улицам городка промарширует парадным строем отборная и хорошо
экипированная сотка четвертая дивизия. Но, как говорится: «Загад не
всегда бывает богат». Ввалили нам, накостыляли под Суомуссалми по
самую не балуй. Хочь глаза от стыда завязывай!

— Да ты расскажь толком-то! — теребили бороды, цокали языками
земляки.

— А об чем тут перетирать? Все, как на духу: нашего брата, рядово-
го, его ведь не проведешь — наука нехитрая — он собственной шкурой
чует все недочеты и промашки командиров...

Клевал носом крепко захмелевший Роман, хоть и умел держать ха-
рактер, но ронял голову на грудь, и вдруг ни с того ни с сего, словно в

передышке между боями — гармонь на коленку, и по ладам! — притопы-
вая под столом ногой, затягивал в распаренной, как баня, избе длинную-
предлинную немудреную солдатскую песню, заученную в сугробах под
Суомуссалми:

Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

Ломят танки широкие просеки,
Самолеты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мужики выдвигали покруче фитиль семилинейной лампы, прислу-
шивались, подхватывали:

Мы привыкли брататься с победами,
И опять мы проносим в бою,
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвездную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Бабы по лавкам — рты нараспашку, заезжай с возом, — зевали, кре-
стили рты, сверкали спицами: кто над vareжкой, кто над носочной пят-
кой. Нащупав самую высокую ноту, откидывали вязанье, подвывали и
они, все-то манило их рассиропиться, перейти на принятый у нас (куда
больше, чем те-то марши!), песенный плач:

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу Родину —
Мы приходим ее возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

Финны не остались в долгу, придумали в ответ на эту свою песню.
Правда, Роман услышал ее только в сорок втором, от финна, волею судь-
бы оказавшегося в союзнической, немецкой, части, до мозолей отсидев-
шей себе зад в наших краях. Время от времени он брал в руки гармошку,
подносил к губам и, чередуя с игрой, напевал:

Poisesti rallatellen lähti Iivana sotaan,
mutta joutuessaan Mannerheimin linjalle
muuttuikin nuotti paljon surullisemmaksi,
kuten seuraavasta kuulemme:

Finlandia, Finlandia,
sinne taas matkalla oli Iivana.
Kun Molotoffi lupasi juu kaikki harosii,
huomenna jo Helsingissä syödään marosii.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff...

С веселой песней уходит на войну Иван,
но, упершись в линию Маннергейма,
он начинает петь грустную песню,
как мы это сейчас услышим:

Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!

Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался
страшный артиллерийский огонь,
он заставил замолчать многих иванов.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!

Финляндии, Финляндии
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!

Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!

Да, песня эта до Романова слуха долетела уже в Отечественную, в сорок втором, а тогда, в Финскую, хоть и гремели по радио ободряющие советские марши, к ведению войны не только (не приведи, Господь!) с великой германской машиной, но даже с ее малым союзником — Финляндией, мы, как показали сражения зимы тридцать девятого-сорокового, не были готовы совершенно.

— Куда ж они там, в верхах, смотрели-то, растудыть их! Об чем меркали, на какого рожна стервецы надеялись, ввергая армию в эту кампанию, — сетовал Роман, — Финская выявила серьезные промашки, заметные любому рядовому с первого взгляда: командный состав не подготовлен, снабжение — хуже не придумать, — кипятился мужик еще крепче. — Кто ж при таковском раскладе, да еще в зимнюю пору кидается воевать? Ведь к концу декабря и дураку стало ясно, что «доблестное» наступление Красной Армии — тью-тью! полетело коту под хвост, в тартарары.

Ну, это тремя неделями позже, а тогда, в начале декабря, седьмого числа, вот что было: силами сто шестьдесят третьей стрелковой дивизии девятой армии наши заняли поселок Суомуссалми. И — поверить невозможно! — в этом же местечке втюхались в окружение. Отрезанные от снабжения, умудрились попасть в кольцо малочисленным финским войскам.

Вызволить погибающую девизию была двинута сорок четвертая стрелковая, та самая, в которой служил Роман Жихарев. Но, видать, Господь

за что-то очень крепко рассерчал на русских. И эта дивизия, удерживаемая, как потом вспоминал Роман, всего двумя ротами двадцать седьмого финского полка (человек триста пятьдесят — кот наплакал!) застряла на дороге Суомуссалми — Раате.

Дальше — хуже... Что случилось? А то и случилось — если сто шестьдесят третья, потеряв тридцать процентов личного состава, большую часть техники и тяжелого вооружения, с горем пополам все же прорвалась до своих, то дивизии, в которой бился Роман, сорок четвертой, — что ты будешь делать? — повезло куда меньше, а вернее, вовсе не повезло.

— Финны, черт бы их побрал! Прямо белены объелись, — кричал Роман. — Не будь дураки, завернули свои части на нашу горемышную дивизию, придавили огнем, всех одним чохом, — головы не поднять. Такая, братцы вы мои, наладилась свистопляска — земля с небом смешалась!.. Ей-богу, не по себе стало! Хотя как крути, а восьмого января в сражении на Раатской дороге нюхнули мы пороху, раздолбили нас — страм кому сказать — наголову.

Вой захлебнулся, и до своих пробилось — всего ничего, самая малая толика... такое дело... полегла почти вся сорок четвертая, негусто осталось... к тому ж, часть бойцов, среди них и я, израненный, потерявший сознание, попала в плен...

По отдельной палате в финском лазарете (для военнопленных русских), где очутился обмороженный, долго не приходивший в сознание Роман, прошелестел слухок, мол, противнику в том бою досталась небывалая добыча, жутко подумать: тридцать семь советских танков, двадцать бронемашин, триста пятьдесят пулеметов, девяносто семь орудий (включая семнадцать гаубиц), несколько тысяч винтовок, сто шестьдесят автомашин, и все до одной радиостанции.

Им, ребятам обстрелянным, но отрезанным от своих, верилось и не верилось.

— Фуфлю! Брешут, как сивый мерин! Быть того не может, — петушился, чертыхаясь, вскидывался на дыбы Роман, хотя... ему ли, видевшему крах своими глазами, было сомневаться? Но цифры настолько обескураживали, что даже он в них не верил. — Это ж надо еще измудриться! Страшно... стыдно подумать! Пятидесятипятитысячной машине с тремястами пятьюдесятью пятью орудиями, с сотней танков и пятидесятью бронемашинами, вроде и дело-то — самое плевое, ан нетушки, не устояли всего-то против одиннадцати тысяч человек финнов с одиннадцатью орудиями!

Это потом уже, вернувшись из плена домой, узнал он и просочившиеся из армии взаправдашние последствия той битвы для комсостава: командир и комиссар сто шестьдесят третьей дивизии были отстранены от командования, один полковой командир расстрелян. Того хуже оказалась участь командиров его родной, сорок четвертой, дивизии: комбриг Виноградов, полковой комиссар Пахоменко и начальник штаба Волков расстреляны перед строем своей сгнувшей дивизии... перед горсткой бойцов, уцелевших в той Раатской бойне.

— Как припомнится, братцы мои, так и застучит в ушах, задрожат руки, забегают промеж лопаток мурашки, — каждый раз заводя разговор «о той зиме проклятущей», чернел лицом Роман. — Да-а уж... нахлебались лаптем штец, сыты по самую глотку!

Видно, так уж было угодно Господу, побывав на грани жизни и смер-

ти (ржаная копна волос его обратилась в замать чистейшего снега), Роман уцелел, и теперь его «тем светом не напужаешь»... Правда, на его мужицкую долю (выпадет же такая судьбина, видать, на роду написано!) свалилось немало злключения — держи карман шире! — аукавшихся ему еще долгие, долгие годы.

7

Шел четвертый год, как возвернулся Роман с той проклятущей Финской. Наступи, укрепишь мирное время, глядишь, и отболели бы его под Аришиной лаской раны, перестали бы приходить к нему по ночам бросавшие в пот воспоминания.

Но оно, вишь ты, как повернулось! Не успел он очахнуть от финского плена, как вместе с родимой семьей, со всеми односельчанами снова угораздило его во полон, теперь уже к германцу.

Даже кратковременная Финская принесла не счесть сколько гибели и увечья мужикам, немерено — слез и вдовства их бабам и детишкам. Подумать только! Против тысячи ста плененных финнов красноармейцев оказалось шесть тысяч сто человек, к тому же за какие-то считанные месяцы войны сорок тысяч пропало без вести.

«Господи! — сокрушалась (как не сокрушаться-то?) Романова душа, — а разве возможно будет подсчитать все беды и потери, принесенные фашистам за те нескончаемые, страшные годы, покуда он топтал своими коваными сапожниками нашу землю?.. Вот и Сергуньке, птушонку моему неоперенному, — ком подкатывал у Романа к горлу, — выдалось хлебнуть! И подсобить — не подсобишь...»

Уж кто-кто, а Роман на собственной шкуре знал, что значит находиться день и ночь под прицелом. Это он — взрослый мужик!.. К тому ж не из хлюпиков... А тут дите малое!

По сей день не верится Роману, что уцелел, не сгинул он тогда в финских лагерях. И хотелось бы забыть — век бы не вспоминать — да не позволяет раздробленная в мелкое крошево нога. Вот и приходят к нему по ночам вместо снов события тех злосчастных месяцев.

Не раз, когда опускалась на землю темень, ночь напролет шептал Роман полусонной жене своей, как очутился в финском плену.

— Холода стояли, сама, Аринушка, помнишь — не приведи Господь! Снег — до рези в глазах — голубой, с мириадами обжигающих огоньков. А финнам нипочем: зароятся и барахтаются в своих сугробах — и байдужи. Партизанят. У них ведь тожить какая-никакая смекалка имеется, не первый день в боях: попробуй столкнись в лобешник с Красной Армией — шапками закидает. Народишку финского — раз, два и обчелся, а об армии и говорить не приходится. Вот и исхитрялись они на всяки боки.

Особо досаждали финские лыжники. Сколько раз (и все как стемнет) приходилось оббиваться нашим войскам от этих небольших отрядов, вооруженных автоматами, знающих местность как свои пять пальцев. Налетят неведомо откель, набьют, настреляют и — нырь в буреломины, да и сугробов понадуло — только ховайся! — ищи их потом, свищи.

Всяк, хлебнувший финского снежку, побывавший не раз в заварушке, мне не заперечит, поддакнет: наибольшую опасность для нас в той, считай партизанской войне, подсурили снайперы — «кукушки». Они у финнов — прям-таки туз в рукаве! Засядут, ядрена вошь, таковские птички со своими винтовками по обочинам дорог, в кружевящих от инея

деревях — не видны, не слышны — и рубят наповал, косят, кого вздумается, без разбору. Мы-то у них как на ладони!

А пули у «кукушек» не простые — разрывные. Редко кто, ими подбитый, оставался в живых. Мало того, что рана оказывалась зачастую смертельной, так еще и страсть какой мучительной: они ж, падлюги, разлетаются в теле человека на множество осколков.

Вот такая, будь она неладна, штуковина впиваясь, искрошила и мне в тюрю ногу... восьмого января там, на Раатской дороге. А ведь раньше-то хорохорился, думал, вовсе от пуль заговоренный.

В тот день окружили нас финны со всех сторон, бьют — света белого не видать. Ну, наши, конечно, кинулись на прорыв, побежали, взрывая снег... Ребята несутся мимо меня. Прямо на огонь! Падают, сверзаются подкошенные один за другим, но все одно бегут.

Очухался я от первой боли, пришел в себя. Ох, неспроста правая нога огнем полыхает, штанина — в ключья! Маскхалат да уж и снег подо мной — кровавистый. Сыпанул пригоршнями его, колючего, прямо на горящую рану, нащупал кое-как винтовку и — на пузе, за ребятами, по колленкоровому полю, вдогонку. Пополз!.. Ну, думаю, Бог не выдаст — свишня не съест!... А снег сыплет, сыплет...

Куды ж деваться? Поползешь, коли к ворогу в руки не захочешь... К тому ж, каждый на виду, в сугроб не зароешься. Не утаишься: добровольно сдался или бился до последнего. Попробуй потом докажи свою правоту особистам. Лагеря... они и есть лагеря... Не на перине мамкиной валяться... И в наших, небось, не медом намазано... Слыхал я...

— Жалкай ты мо-ой! — хлопала тихо где-то под мышкой, словно пела горячую песню, прижимаясь к нему еще крепче, заморенная и колхозными коровами, и своим хозяйством жена. — Никуды тебя боле не пушту! — слышался шепот ее любимых губ.

— Спи, рódная... спи, — тыкался Роман в ее пахнущую липовым цветом, парными июньскими зорями золотистую замать, отыскивал, целовал ее мокрые глаза...

И уже через пару минут продолжал исповедоваться (Арише ли, самому ли себе?), как, скрежеща зубами, превозмогая адовы боли, крестил по матушке своих (несутся мимо, не до него!), как сворачивал кукиш, выставлял сквозь хлопьястый снег вперед, финнам на их «Русс! Стафайсь!» — «Погодите, еще разуважим, начистим вам рыжие хари!», и клял на все боки «кукушек» — уж лучше бы навовсе прикончили! Орал так, что на пять верст с елок обсыпались шишки в бору...

Потом задвоилась... затроилась Раатская дорога, все перемешалось в его голове, поплыло, затуманилось. Тут же екнуло, обожгла его своей простотой нестерпимая мысль: «Кажись, не свидимся боле, любушка...»

И сбывшись бы прошептаные в горячечном бреду Романовы слова, и остался бы от него в тамошней, ненашенной стороне, в этой самой Финляндии, меж вековых валунов только холмик, а может, и его бы не оказалось, да, видать, не последний человек он на свете, чтобы вот так, не за понюшку табака, испустить свой крайний вздох на чужбине, не повидав еще, хоть одним глазком, свою разлюбезную супружницу, белесенького (в мать пошел) сынка Сергуньку, не кинуть в подпечье (мышкам на сбереженье) его первый выпавший молочный зубок... не окинуть с Почуй-горы деревушку свою Березовку, краше и дороже которой и в целом свете не сыскать.

...Бой задохся. Пальба прекратилась.

Но в довесок набирала силу, проворно засеменила метелица. Ветер бил поперек дороги — хоть стой, хоть падай. Морозище обжигал огнем — дух перехватывало. Роман, находясь на грани Того и Этого света, — дух перехватывало. Роман, находясь на грани Того и Этого света, уткнулся лицом в занос, затих, словно ввалился в какую пропасть. И вдруг (даже не чуял, как подкрался) кто-то лупанул его по спине со всего маху палкой. Удар был настолько силен, что воскресил его из небытия. Роман застонал, приоткрыл опущенные инеем веки: «Будто наяву?.. Двое...»

Постепенно сквозь вьюжную коловерть прорезался слух, и он прошептал сам себе заплетающимся языком: «Балакают по-ненашенски!» В снова угасающем сознании промелькнула мысль: «Подхватиться бы, да ноги окаменели!» Попытался исхитриться, дотянуться заскоруждыми, оклякшими руками до винтовки. Но, как говорится: выше головы не прыгнешь — один из финнов пригаркнул на Романа, видать, крепко выругался, отшвырнул носком обутки подальше от него оружие и, продолжая клясть русского на все боки, принялся со своим напарником пристраивать его небрежно, словно мешок с картошкой, на небольшие санки к уже лежащему на них солдату. Покуда возились, метель пошла на убыль. Двинулись по мелкоснежку, целиной.

Да... многоночко воды с тех пор утекло... Клубок воспоминаний раскручивался и раскручивался, как зимний ненастный день, снующий во поле швыдким веретенном.

Полуобмороженного, с раздробленной ногой, почти без сознания, к утру после боя подобрали его финские санитары. Доставили в лазарет. Кое-как привели в чувства. Обшарили, раскрыв солдатский медальон — ладанку из двух металлических пластин, — прояснили, прописанное на крохотном листке: как бойца зовут, с какого он года, к какой приписан части. Разместили в палатке среди таких же беделог.

По правде, как не благодарить ему финского хирурга? «Китош!» Как ни суди, жизнью Роман ему обязан, ни больше, ни меньше (как пить дать, не избежать бы ему гангрены!), а не только тем, что ногу не оттяпал. Навек запомнил его имя Роман. Как позабыть-то? Юхо Ярвинен.

Собрал военврач ему из мелких осколочков ногу. Ох, и лишенько было! Два санитара держали, не справлялись. Хорошо, что доктор не знал русского, а может, притворялся, что не понимает, как обезумевший от боли Роман поминал его достопочтенную матушку. Наверно, той матушке Ярвинен из какого-нибудь Хаапаярви, покуда сын ее колдовал над несчастным русским военнопленным, до смерти икалось.

Склеить-то ногу доктор наудачу склеил, а она возьми да как попало сростись, шиворот-навыворот. Куда ж деваться? Настырный врач переломал несчастную ногу заново (по сию пору дивится Роман: с чего бы такая забота?) И так не один раз, пока не добился своего: Роман пошел через «не могу», на своих двоих. Правда, до конца жизни остался он хромым, нога укоротилась аж на пять сантиметров. Как не захромать?

Сколько годочков минуло, а вот не приходит забытье, все до малой малости помнится. Нет-нет да снова пригрезится.

...Провалаялся Роман в финском лазарете до середины марта. Домой, конечно, не помышляй — ни полвесточки, ни самого малого письмеца-писулечки. (По правде сказать, когда прошли все сроки, деревня принялась Романа уж и оплакивать... Но не Ариша!)

Эти два с лишним месяца — еще цветочки, всяко полегче по сравне-

нию с месяцем пребывания в лагере, в котором очутился он, лишь только более-менее встал на ноги.

Лагерь, как лагерь, такой же, как и остальные три, в которые были согнаны русские военнопленные — бывший скотный двор, обнесенный колючкой. По углам — вышки, на них день и ночь — охранники. Скотный двор... И содержали пленных, словно скотину: спали на соломе, по нужде сходить некуда. Вода — не дреми, на вес золота, а потому — не до бани. Грязь и вши. Баланда да протухшая конина. Побои и смертность.

Неизвестно, выдюжил бы Роман со своей никудышной ногой все те беды, что обрушились на него в лагере (уж совсем было духом смутился, за что совестил себя несчетно раз), но он попал в первый обмен военнопленными. К вящей его радости, как ни странно, просто-напросто подвезло.

Как потом прочитал он в газетах, «С четырнадцатого по двадцать восьмое апреля 1940 года в Выборге прошло шесть заседаний смешанной комиссии по обмену военнопленными между СССР и Финляндией. Советскую делегацию представлял комбриг Евстигнеев, капитан Сопруненко и представитель НКВД Тункин. Финскую — советник миссии Койстинен, подполковник Тийайнен, капитан Вийтанен».

...Снег в ту пору только-только начал сходить с крыш, ветер принялся высасывать сугробы, но сосульки, осиянные яростным вешним светом, уже гомонили наперебой, переспрашивали его, исхудавшего и почерневшего солдата: «Ты ли? Ты ли?»

Семнадцатого апреля, в пору молодой весны, на границе в районе станции Вайниккала Романа с первой партией пленных передали русской стороне... Отбыл, значит, испутив, наконец-таки, вздох великого облегчения, домой по чистой.

Хоть и поторапливался что есть мочи, но объявился в Березовке в свою старую, истлевшую по углам, остроенную еще батькой избу, в свою немудрящую крестьянскую жизнь, лишь под лопотню первой листвы, когда пчелы — по крылышки в вербной пыльце — уже гудьмя гудели в палисадах. От сердца будто стопудовый камень отвалился.

Если бы не тяжелейшее ранение и беспамятовство при пленении, кто его знает, чем бы аукнулась Роману Финская. Хоть свет и не без добрых людей, разве можно было в те годы за что-нибудь ручаться, выложить перед кем-нибудь горькое откровение, пролить горячую слезу, душевную мольбу? Боже упаси! Сколько его сотоварищей по несчастью прямой наводкой из финских лагерей попали в советские!

8

Не спалось... Не спалось нынче и Митрошке. Заснешь тут! Как же! Попытался было залить первачом разговор с Романом — не тут-то было! Башка трещала, а не брал зараза, трезв, как стеклышко. Разворошил ему душу речами своими колючими бывший дружок, точно раскидал новолетний стог ветродуй февральский, растеребил по соломинке — ни сгрести, ни собрать.

«Сколько раз-то думалось: вот оно! Еще малешки, и схвачу ее, птицу счастья, за хвост, — перебирал в памяти, листал судьбу свою, словно настенный календарь, день за днем, Митроха. — Сколько случаев подворачивалось, но — дудки!.. А ему?.. Это ж надо, как везет мужику! Ариша — его! На Финской — не сгиб! Думал уж там, на рельсах под Степановкой,

лежать ему — не шелохнуться во веки вечные. А он — поди ж ты! Сызнова стеной непробиваемой поперек моей дороги. Э-эх! Надо было все ж таки стрéльнуть тогда контуженного Ромку, пока не расчухался... Рука не налегла! Обнадеялся: сам канет...

Живучий, сволочь! Видать, и правду, Аришиной любовью заговоренный. За ней он, как за каменной стеной. Угораздило же! Лучше б он в другую часть попал. Не мучился бы я, что упустил шанс... ведь всех тогда накрыло... никто бы и не знал... и взятки гладки.

Ну, дак война!.. Она, анафема, сама выбирает, кого, с кем и где пере-сечь, кого побратать, а кого сделать ненавистными врагами. Замешивает жисть — крутей не бывает. И сколько еще ее пойло хлебать — никому неизвестно... Господи! Бедная ты, разнесчастная Аринушка, как же ты сдюжишь всю эту коловерт? А поначалу-то надеялись: ну, месяц... ну, два... Боже ж ты мой! Сколько с тех пор пронеслось-пролетело? Куда подевались те первые непоколебимые надежды?

...В то роковое воскресное июньское утро соседский пацан Петюня сманил Митроху на карася, на старые торфяники. Хоть и время горячее, страдное, пришел июнь — на рыбалку плюнь, сенокос в самом разгаре, баловать в бирюльки некогда, но второй день, как зарядил вялый дождичек — ни косить, ни копнить, ни скирдовать. И Митроха — так уж и быть — с вечера напарил гороха, накопал за амбаром червей, одним словом, сготовился. Только б распогодилось, а то карасек — рыба квелая, ей тепло да солнышко подавай.

— Ладно уж, — заранее, на случай неудачи, успокаивал себя мужик, — не возьму крупняка, так хоть молоди на Васькину утробу притащу. Уж чего-чего, а карпят, к примеру, сейчас должно быть невпроворот.

— Хы! Не тушуйся, дядька Митрофан, попомни мое слово: карасей снизок десять, не мене, приволокем — вчера с выгону с гусьми проходил, пригляделся: по тростникам лягушки наикрили, отнерестились. Значит, будут нам караси, ей-богу, будут!

Раньше-то с Ромкой, по малолетству, когда времени было по самую макушку, коли мамки заради какого дела не загоняли на двор, сутками пропадали они на ближних речушках и прудках. Июнь хорош для ловли жереха и голавля. Таскали, конечно, и плотицу — куда ж без нее? — и лещиков-пескариков. Неслабо на донку брал карась, да и на простую удочку шел за милую душу.

Митрошка любил рыбачить поверху, тут обреталась уклейка, гулял голавль, грелась на теплышке чехонь. Роман же забирался на глубину. Притаится и ждет — в тихой воде на червя шла густера. К тому же где-нибудь с пятнадцатого-двадцатого июня в глубоких местах с глинистыми обрывистыми берегами начинался клев сазана.

«Да-а... Сколько былей-небылиц у ночных костров рассказано, сколько пескарей на краснотальнике пережарено, — тосковала, перебирая прошлое, Митрошкина душа. — Рази ж думено-гадано, что задурочится жисть, откинет с нами эдакий фортель? А бывало-то: куда он — туда и я, куда я — туда и он...

В то последнее мирное утро над застывшей синью реки шел туман, свежий, как огуречный сок. Ушел с неба месяц, заспанно ошмыгнувшись на заходе, растушевывался, размывался в мутное пятно и бросал белесые крахмалистые тени. Потухли в небе Божьи свечки.

Со старых осокорей в смолкшие, разомлевшие травы падали, срываясь, хрусти, в таволгах полусонно облетывались стрекозы. Ветерок забав-

лялся, пошуркивал пуховитой камышиной порослью, затейливым кружевом сучил пену с губ прибрежных волн.

Рыбалка, и правда, задалась. Утренняя нега уютно пахла клевом и парным молоком. Деревя лопотливой гурьбой обступили костерок. Подбрасывая в огонь валежник, варили уху, пекли на прутьях надранные Петюней в Сидорихином саду полужрелые пепинки.

Часу в шестом уже всю осветлилось, подкултыхал, сгорбившись и подпираясь батожком, к их костерку не понять откуда Афонька полоумный. Безобидный, «двохлый» мужичонка, душа — на просвет. Отродясь, не помнили, чтобы у него был угол — ни кола, ни двора, как говорится, не имел, ходил по миру, собирал куски хлеба, подачками и кормился. Но, как казалось, дедушка этим был блаженно счастлив, точно поджидал какого-то известного ему срока.

Годкам к семидесяти подвигалось уже ему по ту пору, кашель грудь задавил, а все, упираясь палькой, бродяжил Афонька от села до села, от паперти к паперти. Никто его пальцем не трогал, подавали, что Бог послал, а за это слушали его чудные речи. Кто верил, а по большинству — крутили у виска пальцем, но никто даже и помыслить не мог обидеть полоумного Афону.

Вышел, приплелся, значит, старик из лозняков, со стороны Просяного хутора, смущенно подсел поближе к огоньку на подваленный осокорь, видать, продрог, пробираясь сквозь высоченные донники Устиньи на луга. Побитая шашалом телягрейка, на плече — палочка с ситцевым узелком, из-под картуза — ключьями седые с желтиной волосы.

Перекрестился на восток. Пошарив в своей суме, дедушко нашел-таки деревянную обмызанную ложку, почамкав губами, угостился сомлевшей ущицей. Залпом осушил цельную кружку ключевой водицы. К яблокам, правда, наотрез не притронулся, мол, срок не вышел, до Спасу — ни-ни!

Петюнька, охочий до всяких-разных баек-сказок, заерзал. Растянулся на траве, придвинулся к Афоне поближе, затеребил, настропалился слушать, что новенького поведает старичок на этот раз: может, сказку какую стародавнюю, а может, что божеское, из Жития преподобных. Летось, к примеру, на порожках сельпо про Алексея Божьего человека баял.

Митроха-то тогда и значения Афониным рассказам не придавал. Это теперь, спустя время, протянул он ясную ниточку между услышанным им у рыбаляго июньского костерка сорок первого и событиями, что не заставили себя ждать, случившимися следом, в самое ближайшее время.

Поинтересовавшись, а вернее, уточнив, какое нынче число, отперхался, прикрыл дедка веки и то ли наяву, то ли в старческом бреде повел свой диковинный рассказ, да не просто так, а с присказкой:

— Не сизый орел, не ясный сокол подымается... не лебедь белая выплывает... не белы снеги во чистом поле забелелися... не черны леса дремучие чернеются. Это пыль во поле ярится, подымается! Это гроза бурдовая да несусветная на закатном солнышке да собирается!

Хотите верьте, детушки вы мои, хотите нет. А только раз, — сыплет свои речи дедушко, — давным-давно то было, даже я запомнил, когда... однажды в этот день... в стародавние времена-то кто не знал, что зовется он — День Скипера Змея, а то — Змеиный день, так вот, значит... в этот самый день, двадцать второго июня, Навий Змей Скипер пришел на славянские земли. А как налетел, так похитил младенца и заточил его в темный-претемный погреб. К тому ж позарился анчибел, выкрал и унес в свои владения его сестер: Живу, Лелю и Марену...

Петюня, не спуская с него восхищенных глаз, аж рот разинул, ждет, что же дальше-то поведает дедушко. А тот пошевелил палочкой угасающие уголья и пошел баять дальше:

— Кинулись на подмогу несчастным Велес, Хорс и Стрибог и сразили в нелегкой схватке треклятого Скипера. Однако с тех незапамятных времен день этот слывет наиопаснейшим, кровопролитным, злым и несущим людскому роду беды и страдания. Наши предки веровали, что в этот день начинаются настоящие змеиные свадьбы, и горе тому, кто станет на пути у ползущих к месту своего обряда змей. Люди надевали самые сильные обереги от Навьих Сил и старались переждать вместе с семьей и скотиной всплеск дикого буйства в безопасном месте.

«Эх! Дедка-дедка! — тяжело вздохнул, вспомнив Афонин сказ, рассуждал сам с собой Митроха, — где сыскать столько оберегов? Вишь, вся земь полыхом полыхает. Не спрячешься от такой лихой беды, не скроешься, как ни исхитришься..»

А к полудню тогда только-только подобрали они снасти, поделили по-честному карасей, только засобирались до дому, глядь, мчит кто-то к ним в тальники с горы — да как швыдко — кóтушкой, кóтушкой!

— Постой, постой! Это ж наша Маруська! — издали признал Митрошка по васильковому платью свою младшую сестренку. — Ай, чегой-то неладное дома?

Бежит девчонка, косынкой над головой машет, спотыкается, подымается и опять опрометью, а как уж недалече стало, смогли разобрать рыбаки, — криком кричит, рыдает девчонка на весь белый свет.

— Война, братушка! С германцем война-а-а! Что ж теперь будет, Митроша?! — задохнувшись, только и сумела она удрученно вымолвить белыми, как мел, губами, кинулась брату на шею.

— Что-ты мелешь, дуреха?! — заговорил срывающимся голосом Митрошка, ну, не укладывалось у него в голове. — Какая тебе война? У нас уговор!

— Горе гусыне, что лисе верит! — сказала, как отрезала, девчонка. — Додоверялись! — И тут же голос дал трещину: — По радио Молотов выступал. В Бресте наши уже вовсю бьются! Нахрапом ирод лезет! А ты — договор, договор!.. Бабы голосят... Мужики матюганются...

— Что ж ты до обеда тянула-то? — Митроха, побросав и рыбу, и снасти на Петюню, сминая лозняки, уже неся напрямки к Березовке.

— Дак к конторе, на сход, бегала, — всхлипывая, ели попевая за ним, на бегу утирала косынкой глаза Маруся, — все, кто мог, и кто не мог собрались.

— Да не мямли ты! Сказывай всю правду-матушку, чего порешили-то?

— Как что? Как что?! Ах ты, горе мое луковое! Да не беги ты так, идол! — запыхавшись, кричала она брату вдогонку. — Разошлись уж по хатам... Котомки мужикам собирать. Так и сговорились: навалиться всем гуртом, размахать его, падлогу, разом! Мужики валом валили записываться. Ромка-то, дружок твой бывалошний, чуть ли не первым.

— Да кто ж его возьмет, калеку-то? Его дело теперя остатнее — за Аришкину юбку держаться! — съязвил, не стерпел Митрошка (даже тут Роман его опередил!), а про себя наметил так: «Не смогли по-мирному, война нас рассудит: уйду на фронт, жив останусь — в Березовку ни за какие коврижки не ворочусь. Сколько ж можно над собой измываться-то?»

Заскакали мысли, перепутлякались и кинулись врассыпную, словно стадо прихваченных на бакше гусей.

«Пора поузнать, одуматься, — не раз втолковывал он себе, лоясь на мысли, что по-прежнему изнаывает от жгучей любви, — ну, не люб я ей, вишь, как оконфузила!.. Насильно-то мил не будешь... Вот и мать корит, плешь проточила, затвердила, как попугай, мол, семь раз дурак — рази ж ты у меня какой хворый, чтоб опосля себя поросли не оставить? Куды ж это годится — мужику под тридцатник, а он все холостует?»

— А и то, надо правду сказать! Когда так, — подбадривал он себя, давал зарок, — вот выкурим германца, и зашлю к какой-нибудь нашенской девке сватов. (Ай, на Аришке этой свет клином сошелся?.. С лица, как говорится, воды не пить, лишь бы характер — шелк-шелком.) Да хотя бы во двор Миколы Смирнова. У него эдакого добра, девок-то, эко сколица! — разлюли-малина — под дюжину. А три старшие — в самом соку, хоть сейчас под венец, — говорил, говорил Митроха и сам не верил тому, что говорил.

Ведь в каждой встречной девке, в каждой молодке видел он только одну. У всех у них было одно-единственное лицо — Аришино. Таких раз два и обчелся... Так-то бывает... Присушила, ой, присушила Митрошку Арина, сама того не желая, искромсав его душу, словно какой гриб-подберезовик, на тонюсенькие ломтики! Разве что с сердцем ее, растакую, вырвать?! Не было в его душе радости, а теперь и вовсе — лег на ней тугой узел.

Как не повезет — так не повезет!

— Тьфу ты! Помереть и то без него не помрешь! — не на шутку обозлился, засерчал чокнутый на ревности Митроха, когда в середине июля неожиданно, негаданно столкнулся он с Романом.

Да еще в какой момент! Их эшелон прибыл к месту назначения, к крайней точке, к злосчастной станции Степановка. Перегружались в полуторки, до фронта — рукой подать.

Как провожали их, через три дня после начала войны, он даже козырял перед Романом: как-никак, идет рубиться с врагом, а Романа, хоть и орал он до хрипоты, хоть и стучал в военкомате кулаком по столу, завернули: «Понадобисься — призовем!», а покуль, чтоб не обивал зазря пороги, вот тебе рукомясло — и приставили командовать подводами, забитыми отправлявшимися на фронт березовскими мужиками.

Спозаранку тогда потянулись односельчане семьями к правлению: «Здрате, здрасте!» Заполонили наваленные по соседству с ним штабеля золотистых, густо пропахших смолами бревен недорубленной жижаревской хаты. Романовы братья повозрастали, уж и заженишились. И он порешил отойти от родительского двора — собрался поставить новую избу, на бересте, чтоб век стояла и сносу ей не было, бок о бок со старушкой — матерью и братьями. Узнав об этом, и председатель Кузьма Лексеич не заупирался, поддержал Романа, выделил на хату лесу. А зла на Романа — дело-то пройденное — за тот растреклятый мешок с посевной рожью он давно уж не держал. Рассчитался мужик за него сполна. Шутка ли кому сказать — пять годочков на Северах отгладил!

Подраставший на глазах сруб, еще вчера звонко и радостно перетакивавшийся топорами, вдруг онемел, казалось, задохнулся от неожиданного горя, от порушенной судьбы и пригнулся в три погибели от предчувствия неминуемого лиха.

На крыльцо правления притащили из клуба грузную фанерную трибуну. Народ обступил ее, и седой, как лунь, председатель Кузьма Лексе-

ич, казалось, постаревший за эти три дня еще на десяток лет, не стал долго воду в ступе толочь.

— Товарищи! — смерив собравшихся от края и до края горящими глазами, обратился он к землякам. — Родина в опасности, она зовет нас на битву с врагом! Мы не можем ждать, сложа руки, когда фашистская нечисть придет врасплох в наш дом, примется разорять нашу страну, уничтожать наших детей. Сегодня мы провожаем первых односельчан на помощь нашей Красной Армии. Понадобится — станем грудью все как один и будем биться за ее свободу до последнего вздоха. Знаю, нелегко, конечно, придется и тем, кто останется ковать нашу победу в тылу. Но у меня ни на минуточку не возникает сомнения, что сообща мы обязательно победим! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

— Он еще, вражина, — чертанув по матушке, выкрикнули из толпы, — не знает, с кем связался: как ни пыжится — пропишем ему ижицу, всыпем на орехи!

— Полчаса на проводы! — скомандовал председатель, и толпа разом загудела: запричитали, рванувшись к своим мужикам, бабы. Повисли на шеях, заголосили, прижались к батькам ребятишки. Им наперебой в чьих-то пьяных руках сразу в нескольких местах дико взвизгнули гармони, завываблучивали. Просыпались сквозь слезы на ходу придуманные частушки и страдания:

Это лето, в сорок первом,
Никогда не позабыть,
Привалило к сердцу камень —
Ни за что не отвалить!

Мы с миленочком пойдем
Воевать на парочку.
Он пойдет за командира,
Я — за санитарочку!

Пели, пили, сквозь прихлынувший к голове хмель ревели белугами, так что сердце переставало биться. Умоляя беречь себя, как зеницу ока, целовались. Совали в дорогу узелки с бутылками сизого свекольного самогона, пучками перистого семейного лука, новолетними малосольными огурцами, краяхами домашнего хлеба, с крутыми, утомленными в печках до коричневого окрасу яйцами, со шматками чесночного сала...

Наконец, подложив в телеги свежего сенца, столпились, благословили новобранцев, проводили всем селом далеко-ононько, до самых росстаней. И смолкли, словно надорвали груди... Не ведали беды, а она, злодейка, краслась по пятам. Придется ли свидеться?..

Роман, с тоскующими глазами, сидя на передней подводе, дернул вожжами, прикрикнул на Гнедка, и покатили мужики невыкошенной равниной на войну... стараясь протолкнуть удалой хмельной песней подступивший к горлу ком, и страшившие не на шутку предчувствия, не смея оглянуться посоловелыми глазами на пластавшихся им вослед в придорожной пыли баб и матерей, на прошлую свою жизнь со всею ее горечью и сладостью... видно, еще душой от дома не оторвались... многие отбыли напрямик в рай... И погасли их несбывшиеся планы, мечты, надежды...

Так и ушел Митроха на фронт, не ведая, что ни мало ни много — ровно через два дня рванул ему вослед и Роман. Как какой-нибудь пацан, дернул их догонять. Долго уламывал всяких-разных командиров, начальников станций, эшелонов. Никому до него и дела не было. Но как-то смух-

левав, попал он, в конце концов, сам не ведая того (судьба-а!), в часть, к которой был приписан Митрошка. Сжалился над ним командовавший эшелонном майор — мягкая душа, мол, ладно уж, так и быть: может, при кухне пристрою, мужик вроде бывалый, с житейской мудростью, как-никак, успел понюхать пороху на финской, сгодится.

Время суровое, почесываться некогда (немец подкатил под Киев, уткнулся в Днепр), летели не куда-нибудь — на фронт, на станциях почти не выбирались проветриться, не задерживались, видно, потому и не пришлось мужикам в пути пересечься.

Три раза попадали под бомбежку, и ничего, Бог миловал. И ведь уже добрались!.. От Степановки до наших окопов — верст десять, не боле. Фашист наглед, наваливался всей армадой, фронт откатывался вглубь страны. Немецкие летчики, опережая регулярные войска вермахта, залетали порой неожиданно далеко за линию фронта.

Вот и в тот черный день. Уже поступила команда грузиться по машинам, уже первые из них отъехали на позиции, как налетели бомбардировщики. Сколько — трудно теперь сказать. Ни Митрохе, ни Роману было не до счета — унести бы со станции ноги. Гитлеровцы, видно, задумали стереть ее вовсе с лица земли.

Дыбились рельсы. Вагоны, словно дикие звери, набрасывались один на другой. Так и закрутилось все колесом! Грохот, вой, скрежет раздираемого на части металла, гулкое уханье оседавших станционных зданий, ничем-ничего не видно.

Налет длился минут двадцать, не больше, а Митрохе показалось: несколько часов — ужасный крик, дым — коромыслом! — и конца и краю этой страсти не виделось. Казалось, само небо расколосось, и из его высоченных глубин выскальзывали огнедышащие, смертоносные жала.

Мысли тюкали кувыркком! Проныривая под нагромождением кирпича и металла, он выбрался, наконец-таки, в пристанционную посадку, оттуда перебежками, перебежками — куда подальше. Еле переведа дух, оглянулся мельком: справа, слева, повсюду бегут от горящих вагонов, от развалин станции не успевшие вступить даже в первое сражение бойцы.

И не было числа потерям в тот страшный день! Вот один, скорчившись, упал шагах в пяти ничком, а прямо перед Митрохой рухнул навзничь в ямину, вывороченную корнями скошенного тополя, земляк его из соседней Борисовки — Фанас Долинин. Веселого нрава, припомнилось Митрохе, был мужик — на ливенке такую «Камаринскую» с загогулиной выжаривал, замузыкивал...

Затащил его, огромного и нескладного, Митроха в канаву — да где-там! Кровь перед смерточкой — горлом, гимнастерка — решето решетом. Задрыгал ногами — и душа его отлетела. Волосы у Митрохи на коже встали торчком. Закрыл он застекляневшие, померкшие глаза Фанаса и, уже не вылезая из кустов, пополз, приклоняясь к земле, на восток.

Не прошло и четверти часа, как натолкнулся он на Романа (даже заробел поначалу). Тот, обхватив руками голову, угловато опустившись наземь, привалился к стволу березки и мычал, раскачиваясь из стороны в сторону. Алым оследил вокруг себя всю траву. Из ушей стекали струйки крови, перепачканные ею руки тряслись в лихорадке. Роман повел очумелыми глазами сквозь Митроху, в сторону станции и потерял сознание.

Как удержался, переломил все-таки себя Митроха, и сам не знает. А ведь сквознула, если по чистой совести, затрепетала тогда мыслишка:

шлепнуть — и концы в воду, никто не видит, а значит, и не узнает. Война все спишет. Уж и винтовку на соперника навел... но вдруг застрашился собственной мысли, видеть, опять встрела Аришина любовь, не позволила, чтобы брат омыл руки кровью брата своего, пусть даже из-за немеренной любви к женщине.

— А! Черт с ним! Так и так скопытится! Все одно не жилец — уж и губы синие! — гладила его мысль, — еще подсоблять, пулю на него тратить, — отпихивал от себя эту задумку, оправдывался перед собой Митроха. (Ну, не налегла у него на Романа рука... хоть самого убей!)

Роман глухо застонал, может, почувал нутром, что кто-то пристально его разглядывает. Он посилился шевельнуться. Но прежде, превозмогая дикую боль в голове, одолел-таки приподнять над слезящимися глазами ресницы. Митроха, прихватив его винтовку, ломанул от греха подальше косматыми кустами, скорым бегом — хоть коренником запрягай. И скок-скок — камнем в воду.

Так и не знал до конца своих дней Роман, что был там, в леске под Степановкой, корешок его детских годков на волосок от смертоубийства и радовался его угасавшей жизни. Роман-то не ведал... зато сколько самогону пришлось выхлебать Митрохе, чтобы заглушить, стереть из косолапой своей памяти ту недобрую минуточку: окровавленный, беспомощный, воющий от контузии, безоружный Роман и он с наставленной на друга винтовкой.

9

Гитлеровцам долго не удавалось форсировать Днепр, и все же после обходных маневров, двадцать первого сентября они взяли Киев. И поперли... топтать своими яловыми сапожищами хлебные украинские степи, белгородские меловые взгорья, курские перелески.

Враг рвался к сердцу страны Советов. Тридцатого сентября разразилась операция «Тайфун» — наступление немецких войск на Москву. В первый же ее день вторая танковая группа генерал-oberста Хейнца Гудериана прорвала левый фланг Брянского фронта и вошла в тыл нашей 13-й армии. Второго октября оборону нашей пятидесятой армии в районе Брянска прорвали части второй немецкой полевой армии. Наступление развивалось стремительно. И третьего октября немцы вошли в Орел.

А в деревушке Березовка они были и того раньше — уже второго числа, на Савватия. Но к этому сроку на военных проселках затерялся след Аришиного любушки — ни слуху от него, ни духу. Где он, как... не годный уже ни к строевой, ни на хоть какую подмогу.

— Может, лежит незнамо на чьем поле, — то ходила из угла в угол, то сидела, пригорюнившись, Ариша. Страдала, томновала в безвестии бабья душечка. — Канул, как тысячи других погибших, без вести пропавших, — ни креста, никакого самого малого холмика.

Аринушка чуяла, как уползает из-под ног почва, все горит и криком кричит в ее измаянной душе. Сделалось невоготу тяжело. Чтобы забыться, доставала с божницы спички, затепляла у образов свечку, упав перед угодниками на колени, принималась молиться. Перебирала губами, упоывая на Всевышнего, надеясь на его праведное заступничество, пришептывала, глядя неотрывно в самую бездонность его всепонимающих очей, с покорностью просила: «Христе Боже наш! Мати Дево! Погубите Крестом

Вашим борящая нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче».

Молитвенные мысли мешались с думками о рódном.

Как отступали наши-то, следом — Матерь Божия! — так тарарахало! Цельную неделю шли они, шли, молча, скрозь деревню, усталые и понурые. Она в каждом силилась распознать своего Ромушку. Они, измотанные, тянулись неровным строем, а Аринушка, опершись на калитку, стояла... стояла, заглядывала в их усталые, закопченные дымом и пороховой гарью лица.

Подоив корову, выносила кубаны с парным. Наварила прямо в очистках двухведерный чугунок картох и совала, совала их, еще теплыми, в руки солдатикам (надеялась: может, кто и над мужем ее сжалится, протянет ломоть ржаного... да хоть какую штрифелину-антоновку).

— Что, драпаете? А на кого ж нас бросаете? — услышала она, как не сдержалась соседка ее Олимпиада, накинувшись на молодого лейтенантика.

Рука — на перевязи, статью такой, что мог бы гнуть дуги, да за чапыгу с утра до вечерней зари держаться, — не отворачивая глаз, он посмотрел на молодку в упор и твердым голосом в ответ, мол, прости, милая, придет срок, обязательно вернемся, навалаем фрицу по полной!

— Как жа! Бахваляйся! Рассчитаетесь! Дождесси от вас, как от липы яблоков! Нас-то под немца кидаете? — потянула носом, завывала, запричитала Олимпиада, получившая на своего мужа через неделю после начала войны похоронку, а чуть погодя — письмо от однополчанина, с которым успел подружиться ее Василий: «Сообщаю, что ваш муж, красноармеец Василий Маркович Котов...»

— А ты поплачь, поплачь всамдели, соседушка... Только на них, горемышных, сичас не сердчай, болью своей не плещи, — Ариша обняла двадцатилетнюю вдову (бабочка-то она неплохая). — Им и так, вишь, как досталось... Ничего, ничего, девонька, поверь ты мне на слово: возвратятся... вот тебе Бог! — возвратятся... куды ж им от хат своих, от детворы?.. А может, и твой Василий еще сыщется! Храни его Господь и Пресветлая! — обнадежила она примолкшую, прикившую к ней на грудь в черном, приспущенном по самые брови ситцевом платке Олимпиаду. — Мало ли без вести пропавших... Эвон сколько их ноне, таких-то!

Наши оставили Березовку, и затаилась, нестерпимая, переевшая все жданки октябрьская ночь с первого на второе. Деревня обмерла. Ни собачьего гама, ни петушьего куреку. Глаз коли — густая октябрьская ночь.

Березовка — селище-то старое, престарое. Видать, мужики в те, незапамятные времена, когда выбирали в лесной дреми и глуши место для его закладки, были не дураки, не обмишурились. Речушка, по прозванью Березуйка — другого имени ей и дать не могли — нравная, а около самой деревушки и вовсе откидывает такой фортель, что диву даешься: отекает горушка, на которой тесно жались друг к другу два ряда хат, почитай, с трех сторон. Попробуй, враг, подступись! Крепость, да и только.

В пойме Березуйки, где вода тихо обнимала берег, испокон веку водилось травищи — хоть в тыщу рук коси. В лето сорок первого (еще успели, самую лакомую сшибли) наставили мужики по приречью вокруг деревни копен — не считано. К тому ж с северной стороны, в Козюлькину лощину, в конце сентября на торфяные ямы свозили бабы, уже без мужицкой подмоги, конопляные снопы. Надеялись, что до Покрова успеют замочить их в колдобинах.

С вечера первого числа стожки да конопляные крестцы стояли себе на своем месте. Никто о них в эти дни и не вспомнил. До них ли?..

Утром чуть свет второго октября ни с того ни с сего заволокло, окутало Березовку дымом. Олимпиадин отец, дед Фатей, не стерпел, хоть и малость прихворнул, залез-таки на крышу амбара, прикорнувшего к Жихаревскому плетню, попытался, прислушиваясь, как шумит ветер, откуда тянет паленым, и даже до середины деревни долетает треск кострики.

— Ну, вот и дождались! Знать, конец света Господь на нынче определил. Видано ли? Березуйка шомонит, полымем полыхает! — высмотрев в распахнутые ворота сарая, старик прямо с верхотурья, «по-соседски», с нескрываемой панихидной грустью доложил управлявшейся с коровой Арише. Даже со своей стратегически важной позиции подслеповатый дед не разобрал, что к чему, но в нем, на всякий случай, проснулось решение.

— Девки! Лимпиада, Аришка! — вдруг скорым порядком, словно какая муха ужалила, сполз по шершавому стволу «дульки», затеял переклик. Прихватив из запечья топор, шнырко зашаркал по подворью, вынул из чулана старую берданку, засыпал пороху, — полезайте, ховайтесь в подвал! Да хлебов, хлебов впопыхах не позабудьте!

Фатей, хоть и росточком далеко не ушел, но кулак — с добрую кувалду, не было в хозяйстве такой работы, чтобы ему не с руки: и треснувший черенок лопатки заменит, и растерянные в сене зубья граблям приладит...

Мужик бывалый, приходилось и ему — «куды ж дениться?» — вшей травить и в Первую германскую, и в гражданскую. А потому погреб у него не из простецких, не погреб, а убежище! «Видать, талан во мне по постройкам погребов открылся», — хихикал дед на все удивления односельчан.

Сколько накатов бревен (к тому ж пересыпанных, утрамбованных землей), дед и сам со счету сбился, и вход прихитренный — козюлькой. Подвалу этому, уж, почитай, десятка полтора годков. Кусты щипульника да дикого боярышника так разрослись меж ракитовых коряг, что захочешь пробраться — черта с два с ними сладишь. Свои-то, конечно, знали все ходы и подступы к Фатееву подвалу. Ну, а чужакам в нем и делать нечего.

На самом же деле вот что приключилось в тот рассветный час (еще бабы и кур не выпускали) в пойме Березуйки. Первые немецкие мотоциклисты, не встречая никаких особых преград (деревушка, спрятанная в перелесицы, лежала в стороне от больших дорог), выкатили проселком с большака и тут на Кулеминой горе стопорнулись. Развернули карты — в двух верстах прямо по курсу должна быть деревушка, каких с начала войны повидали они уже немало, под самым простецким русским названием — Березовка.

Но перед их глазами открылась поразительная картина. Боев в этих местах никаких вроде еще не было, откуда — фрицы ломали себе головы — столько огня. Чудеса в решете! Кольцом вокруг деревни, словно в каком защитительном, оборонительном рве вокруг древней крепости, горела сама земля, не допуская врага на улочки занавешенного дымом и смрадом селища.

А в реке и у берега, где качались тени ветел, и на стремнине, за дальним, поросшим хворостом песчаным островком, где вода пенилась и шумела, отражалось, скользило пожарище, вода — не иначе, как к великой беде, — рябила, хоть и похолодев, алым-алая. Взгляни кто, почудится:

из земли нашей русской, ворогом поруганной, из ран ее свежих, кровь сочится, течет по руслу реки, будто по вспоротым венам.

Рассмотрев пообстоятельней карты, немцы обнаружили березовский мост, прямо под Кулеминой горой, до деревни рукой подать. Уже с поляру увидели они и причину пожара — а и было-то всего-навсего: вдоль реки полыхали стога сена, на торфяниках высоченными кострищами занялись конопляные скирды. Полымя, разгулявшись по лещуге, по чапыхнику, оторачивая Березуйку, расплзлось длинной огненной полосой — прямо жуть! Но ни артиллерийской батареи, ни хотя бы окопов немцы вблизи не обнаружили.

Зато, подкатив к мосту, почудилось им: с ветром долетел благовест, потом все же разобрали они мерный чугунный звон, приглядевшись же в бинокли сквозь дым, приметили на середине моста, восседавшего на перевернутой вверх дном плетушке лохматого, бродящего вида старика. И что самое странное — в кипенном посконном исподнем.

На коленях его стоял ведерный чугунок. И он что было силы, со всего маху лупил по посуде железякой. Отрывался от своего важного дела лишь затем, чтобы подкинуть сенца в разведенные там и тут, вдоль всего моста, костры. За подпаленные стога он уже был совершенно спокоен: попробуй подступишь — не возрадуешься!

— Что, змеица? Съел? То-то! Рано загадал! Накося, выкуси! — долетело сквозь треск и гуденье на непонятном ворогу славянском наречии. Афоня бился... как мог... на мосту через маленькую речушку Березуйку... на своем Калиновом мосту со Змеем Скипером.

Но когда старик, присвистнул и, наглобучив мухортую кошачью шапку — уши на обе стороны болтаются, — свернул без смеха фрицам дулю, а следом, уже в затуманивающейся памяти, косолапо заплясал посередь горящего моста, терпению мотоциклистов пришел конец.

Они не стали ломать голову, как расплатиться с тем, кто оказал им, в прямом смысле, такой жаркий прием. Чуть живого Афоню в обгоревшем тряпье привязали к мотоциклу и потащили в деревню, успев-таки проскочить на левый берег Березуйки. Мост следом за ними рухнул, два дня еще после дымили по концам его обугленные головешки и бревна. Бездыханное, обезображенное тело Афони кинули посередь площади, перед правлением колхоза, приставили часового.

Дня не прошло, в деревню вошли немецкие танки. Березуйка — река не ахти какая видная. А потому ни моста, ни брода они на ней не искали.

Через пару суток (Ариша мало что понимала в родах войск, но все ж таки смекнула), когда жителей Березовки гитлеровцы уже повыгоняли из своих хат на улицу (кто где обретался: в летниках, в подвалах, в пуньках), пошла пехота. И сердце у бабы облилось жуковой черной кровью — немцы текли, и текли, и текли.

Они шли, спокойно перегорариваясь, слышался тяжелый и твердый переступ лошадей. Конца и краю их серым, мышастым шинелям не было. Потом к ним, мышастым, добавились зеленые. Пронесся слух — венгры. А по большаку сплошным потоком двигались колонны фашистской техники. Вонь и гарь от выхлопных газов забивала духмяный аромат переспелых хлебов, грибной запах октябрьских перелесец.

Время от времени объявлялись наши самолеты и нещадно бомбили ползущую серую змеицу. Она огрызалась — налетали мессеры, не вывернуться, зажимали «рус-фанер» в смертельные тиски. И тогда, чуя неминуемую гибель, бывало, наши ястребки падали в самую гущу немецкой техники.

Сначала оттуда, со стороны чудом полууцелевшего Просяного, твкали зенитки, дробили автоматы, гремело и ухало, день и ночь слышна была пальба, горел горизонт. А потом, когда избитую сапожищами, извезенную техникой траву выбелили утренники, стрекот и буханье стихли, постепенно, откатываясь все дальше и дальше в сторону Москвы, бои захлебнулись.

Перестали приходить письма, никто не знал, что происходит там, за линией фронта, живы ли мужья и сыновья, ушедшие на битву с врагом, сколько уж о них и слыхом не слыхивали.

Березовцам стало по-настоящему страшно. Но как же хотелось верить, что там, где еще нет фашистского ига, не забыли и думают, и делают все возможное и невозможное, чтобы поскорее прийти на помощь большим городам и малым деревушкам на оккупированной территории.

Война ворвалась в жизнь деревни неожиданно и страшно. После повального грабежа обрушилась тягостная тишина. На улице из жителей редко кого встретишь, высовывались лишь по великой надобности и то только с шести утра до восьми вечера. Комендантский час — даже от дома к дому не перебежать.

Зато немчура захозяйничала, заобустроивалась, будто в глубоком тылу. Захочется фрицу, к примеру, молока парного — выбьет сапожищем калитку — и в сарай, прямо в каску нацыркает молока, тут же выхлебает, наловит кур, скрутит им головы — и на полевую кухню, варить.

Афоню, чтоб никому не было повадно откидывать такие фортели, фрицы повесили на виду у всех на перекладине, приколоченной к телеграфному столбу. Согнав баб и стариков на площадь, на ломаном русском, достаточно доходчиво, немецкий офицер заверил, что каждого, кто попытается оказать хоть малейшее сопротивление германским войскам, ждет подобная участь. Смотреть на бедолажного, разнесчастного Афоню не доставало сил, бабы, проглатывая рыдания, запахивали фартуками глаза детишкам.

Вечером, изрядно пошуровав по мужицким подворьям, набив птицы и всякой-другой животины, распоясавшиеся фрицы праздновали «взятие еще одной русской деревни, блистательное продвижение войск вермахта на восток». Часового от виселицы убрали — куда покойнику деться?

Но на заре, продрав с перепоею глаза, немцы не смогли поверить в небывалую дерзость — повешенный исчез!

Им, злым дням, расстреливавшим раненых и больных, обустроившим по всей Европе освенцимы и бухенвальды, вряд ли были знакомы те чувства, с которыми испокон веков на Руси относились к юродивым.

Ариша, вернувшись с площади, задернула занавески, уложила Сергуню. Тот уже и десятые сны гонял, а она все не находила и не находила себе места. То принималась драить чугуны, то стирать-перестирывать рушники, занавески.

Ближе к полуночи, часов уж в одиннадцать, встав перед образами, заговорила она с Господом, больше обратиться ей было не к кому:

«Господи Боже наш, помяни в вере и надежди живота вечного предстательскаго раба Твоего, брата нашего Афанасия, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки...»

Накинув старенькую фуфайку, заматавшись белокрайкой, она не стала выходить через ворота, раздвинув плетень, пролезла меж сливовой

поросли на бакшу деда Фатая, зашла с задов, заскреблась в оконце, под которым стояла койка Лимпиады. Колыхнулась занавеска над жаркими бегоньками, вскорости выглянула Липа.

Уж и глаза ее стали слепаться, но, признав-таки Аришу, мотнула головой в сторону крыльца, спрыгнув, босая, в бурки, в нижней рубаше, накинув на плечи шаль, кинулась в сени отворять щеколду.

— Ты что ж в такое-то время шастаешь, ай и из сарая нехристи турнули? На площадь к Афоне захотелось? Там столбов-то хватает! — и, уткнувшись в Аришину фуфайку, пропахшую соломой и коровьим духом, заголосила в причеты. — Милая ты моя расподруженька, ой, да что ж нам теперя делать-то, да куды ж от энтото зверья деваться? Нанесло их, дьяволов, тьму тьмущую! Чтоб они седня все, злыдни, попередохли!

— Что ты, что ты, Липа, Господь с тобой! Живи да Бога благодари — мы-то дома! — всхлипнула Ариша про себя. — Это они пуцай, падлюги, думают, куды им деваться, когда под ногами земля загорится! — из-под нависшего на лоб подшалка ее лихорадочно блестили глаза.

— Ай вы, девки, с ума сошли, в такую-то пору шушукаться собрались? Бросайте свои тары-бары! Брысь по койкам чичас жа, говорю! — Фатей, не успев еще и путем заснуть, поклевывая носом, вылез с печки, как таракан. Засверкал подштанниками, зачерпнув корцом квасу, подсел, почесывая за пазухой, на лавку поближе к молодым. — Ну, Аришка, сказывай, что ишо у тебя стряслося? Чего присваталась такая постная?

— Дак не по-людски, говорю, — вскочила, принялась растолковывать полусонному Фатею Ариша. — Рази ж так-то можно, чтобы Афоня на глазах у всех днями на веревке болтался? Ай мы тожить нелюди? Надо б земле предать, по-православному. Рази ж можно дозволить так-то надругаться?

— Тоись как-ак?!.. Тьфу ты! Мелочь пузатая! Я ей слово, а она мне десять! Ишь, чертовка, и впрямь спятила! Сядь на кубаретку, тебе говорю, уймись... Раскрой глаза-то пошире! Что ж ты на рожон лезешь? — крутанул пальцем у виска старик. — И так ироды обозленные. Сперва нос утри, а потом об чем эдаком думай... Слыхала ай нет, чиво с Григорием-то Титовым сотворили?

— А что такое? — насторожилась Ариша.

— Дак что, что? Одна только ты не знаешь, а уж об том по всей округе в лапти звонят... — и, помягчив, растолковал, — слухи ходят: решето — вот чего изделали! Третьеводнись пришел немец к нему на двор, шасть в сарай. Григорий — кухвайку на плечи, выскочил из своей теплушки, мол, чавой-то ты, господин такой-эдакий туточки забыл (они теперь тамотка с Ниловой обретались... сладили вдоль стены нары, из железной бочки печурку... ить кто где себе жильє слепил и нам вот завтри приказали выметаться).

Смотрит, значит, мужик, а фриц-то уж Красавку стельную, с опавшими, мосластыми боками свежует. Теленка утробного к порогу откинул, паразит, погребовал. Когда успел?.. Бедная и голоса не подала, и мымыкнуть не успела... Смирна-я-а была коровенка... осанистая, лебедь, говорю, а не коровка была, да горькая долюшка и ей обочь нас досталася.

— Это гдей-то такое видано, скажи на милость, чтобы корову завалить на таком сроке! — не помня себя от гнева, завертелся винтом Григорий и в ненависти кэк ахнул! Впорол живодеру — будь он проклят — со всего маху в спину вилы. А Трифоньч, сама знаешь, не смотри, что за шестьдесят — мужик, что надо, богатырь, а не мужик, спина — под два мешка.

— Батюшки! — сердце вздрогнуло от предчувствия у Ариши. — А дальше, дедко, что дальше-то было?

— Ясный перец, что тут гадать-то: издох тот фриц на месте... и охнуть не успел... Только было собрался Григорий закидать его хоботьями, глядь, а на пороге другой немец. На подмогу, видать, прибежал, Красавка-то — мастью симменталка, коровка не из дробных...

Вот ладно... увидал, значит, фриц окровавленного соплеменника сво-во и ну палить по всем углам из автомата (у них это не заржавеет!)... Срубил, конечно, Григорь Петровича... И Ниловну... не повезло сердешнай — как раз возвратилась от Березуйки с постирушкой на двор... тожить не пожалел... и ее скосил антихрист... От кого ждать защиты? Иде искать правду? Одно, видать, нам осталось: день-ночь молиться, к смертушке себя готовить.

Бабы обомлели, притихли. Слышно было только, как цвенькнул за кожухом, у трубы, не знающий горя-заботы сверчок. Гнетущую тишину снова нарушил Фатей.

— А позвошь полюбопытствовать, девонька, коли суешь нос, как ты эту дель-то повернуть собираешься?

— Перепитые они, собаки, вгребучку, все до единого! И караульщи-ка нетуги, точно знаю, сама разведала. А ты, дедко, не пужайся, мы ра-китником, ракиитником... Дела-то — не на собачью слезу. Веревку — вжик, и с Афоней к нам на бакшу, в низы... Я туды уже и лопатку оттар-тала, и старое бумазейное одеяло.

— Ей — про Фому, а она, нравная, — про Ерему! Погоди, ты, лотоха бестолковая! Будет тебе вжик, как прознают!

— Да кто ж прознаит-то? Правление в двух шагах от моей хаты. На-род нашарахан, по дворам сидит, нос боится высунуть.

— Ну, хватит уж антимионию разводите! Будя отвиливать-то, несог-ворный! И так к нему, и эдак, а он прыгает, будто блоха, — не споймать! Что мне теперя перед тобой на колени что ли становиться? — взыграла на всех переборах, не стерпела дедовых колебаний Лимпиада. — Собирай-ся уже! Где порты, а то будешь кальсонами на всю деревню светить, тады, вот тебе Бог, зацапают.

— Замолчь, самопрялка! Сама хочь приплаточься, не ровен час соплей нахватаешь. Что мне потом с тобой, некудышной, в такую лихую пору делать? (Это я так, промежду прочим), — окреп голосом, оживленно шум-нул дед, подбодрился, всунул ноги в порядком заношенные, но без дыр, без заплат, ватные штаны, заложил за пояс колун.

Прокравшись обратным макаром на Аришин двор, не растворяя во-рот, отзынув потихонечку боковую калитку, три тени шмыгнули улкой в ракиитник. Деревня, и вправду, будто вымерла. Даже собаки и те присми-рели, не влзлаивали. Только во все глаза лупились клубные окна. Да от крылечного фонаря падал по двору дрожащий сноп света.

Время от времени под ним объявлялся, еле держась на ногах, какой-нибудь шатающийся фриц. Опершись о косяк, делал прямо с боковушки покосившегося крыльца свое дело и снова пропадал за дверью, из-за ко-торой доносились звуки привиравшего патефона. Frohliche Nachtigall сменялся Lili Marleen, а за ней на всю округу лилась Rosamunde:

Ich bin schon seit Tagen
Verliebt in Rosamunde.
Ich denke jede Stunde
Sie muss es erfahren...

— Говорила тебе, дедуня: пустое ты все толковал, и правда, по всему видать, не до нас им ноне, пережрали — ироды, песни орут, хоть бы к завтрашнему обеду очухались, — покосилась на клубные окна, укрепила Фатеев дух Ариша.

Хоть и тряслись бабы до смерти, но, прихватив заради какого-никакого прикрытия деда Фатей, Ариша и Липа, наотмашь перекрестившись, обрезали-таки веревку — ни ушей, ни взоров лишних, — сронили наземь бездыханного Афоню. Легонького — кожа да кости — подхватили они его под подкрылки за руки, за ноги — и Фатей с вилами в замыкающих — переправили бедолажного густой бурьянной межой в конец Аришиной родительской усадьбы. (Батяня-то с мамкой померли, хата засиротствовала. А потому в ожидании новоселья Роман с Аришей по весне перешли было в родительскую, у Степаниды-то и так тесновато, избушонка небольшая, кое-как срубленная, покривившаяся, двумя оконцами уж и в землю вросла).

Стояла осень, погода направилась тихая, свежая, ночь молоком залита. Поседали травы, лужи подернулись тонюсеньким стеклом молодого ледка, но земля, еще не шибко схваченная морозом, с Божьей помощью, в умелых бабьих руках (мужички, как-никак), не супротивилась. Правда, ямочку выгребли неглубокую — турнут фрица, так и так придется Афоню на погост переносить, не место мертвым на деревне среди живых, да и крест, как водится, надо б справить.

А пока сбегала Ариша в сарай, притащила кой-каких досточек. Фатей, опустившись на четвереньки, выложил ими яму, клешнявыми ладонями неуклюже разостлал на тес одеяло. С грехом пополам опустили Афоню, попрощались по одному, откинув с лица покойника белую тряпицу. Прикрыли оставшимися тесинами. Размашисто перекрестившись на восток, прочитали «Отче наш», как и положено, всхлипнули, кинули на доски по горсти землицы: «Свят! Свят! Свят! Ну вот... душа Афонина домой вернулась... Царствие Небесное!.. Уж какой челове-ек — Богом меченый! А свет-то какой от него исходил!»

Землю побросали быстро, сменяя друг дружку, в одну лопатку зарыли могилочку. Исполнив тяжелый долг, перетащили на черневший холмик с бакши копну картошника и уже к свету разошлись с этой тайной по домам.

Фрицы, конечно, наутро бесновались, выпытывали: кто да когда? Но деревня молчала. Да и видеть-то никто не видел. Хоть и рвали-метали гитлеровцы, но от дознаний толку наскребли, что от клопа смеху. На счастье Ариши, Липы и деда Фатей, дело рисковое так и осталось шито-крыто.

Немец не будет немец (в плоти и крови у него это), если не станет, где бы он ни объявился, обустривать свои порядки. Перво-наперво весь рабочий люд, чтоб поспеть до ледостава, выгнали на налаживание моста: баб гуртом — на расчистку берегов от головешек и обгорелых бревен, стариков и подростков — на рубку леса.

А дальше — больше, и пошло-поехало, все пуще да пуще — давай фриц налаживать «новый порядок». А нашему брату, русскому, порядок тот при любой погоде — не пришей кобыле хвост. Не зря же бают: «Что русскому хорошо, то немцу — гибель».

Мало того, куда ни кинь, на всех углах бумаги порасклеили, мол, глядите у нас, чуть что, шаг влево, шаг вправо — расстрел. И стало совсем немоготу.

— Одно у них, антихристов, для нас не возбраняется, вцепились в горло, словно псы голодные, — перешептывались на ключе бабы, заучившие, видать, немецкие команды на память. — Только и слышишь: arbeiten, arbeiten, arbeiten!

Так под вражьим сапогом и бедовали. Фронт катился на восток, и когда немцы допялись до Подмосковья, на зимний Миколин день невесть откуда и какими путями-судьбами, по вражьим тылам — руки, лицо разбиты в кровь, — прибрел до дому чуть живой Роман.

Мать его, Степанида, потерявшая шестого сентября под Ельней сразу двух младших сынов, а с ней, с этой двойной похоронкой, потерявшая и себя, смутно, ощупью, но все ж таки признала Романа, прослезившись в радостях, прошептала: «Ну, хочь ты возвернулся... теперя могу помирать спокойно...»

Сашка с Мишкой были призваны в конце июня. Весной, перед самой посевной, они закончили курсы трактористов. Успели на своих ХТЗ посеять хлеб урожаем сорок первого. Правда, убрать им его уже не посчастливилось. А в этот год, как нарочно, ржица да и пшеничка уродились на славу. Все, от малолетней мелюзги до немощных, давно уже не знавших колхозной работы стариков, высыпали в луга и поля. Вроде все уже подбили, только не достало рук, тягла вывезти озимую (уже в крестцах) с самого дальнего, за десять верст, Верхового поля.

Может, Степаниду окончательно и подкосил тот злосчастный октябрьский полдень, когда она вместе с еще одной березовской бабой возила хлеб в колхозную ригу (надеялись обмолотить под крышей).

Хлеба — немерено, таскать еще и таскать. Ден пять, не мене. Руки скрестив, сиднем сидеть недосуг. К тому ж хоть на свою, хоть на чужую работу со стороны смотреть не привыкшие, убохались бабы! Шутка ли дело — до восхода солнца еще добрый час, а они уже в поле. Присели, значит, на опушке Панькина леска перекусить что Бог послал: одна картохи прихватила, другая — яйца, еще чего-то своего. Только разложили снесь артелью на подшало, глядь, по проселку мотоциклы зашлындрали (видно, те самые, что на другой день наткнулись у Березуйки на Афоню).

— Хлеб горит! — ахнула вдруг Степанидина товарка Мотя и, не успев ни о чем сообразить, кинулась было из леска на поле тушить.

— Куды ж ты лезешь-то, ай не видишь?! — выскочила вдогонку за ней Степанида, сгребла, покуда не заметили, повалила подругу в траву.

Какой крестьянин не свихнется, какое сердце не обомрет, не зайдет-ся, коли на глазах до самого горизонта пылает хлебное поле? Немцы ходили меж ржаных крестцов и, казалось, даже с азартом поджигали их факелами.

Очухались кое-как бабы — страшное дело! — сгребли манатки — зубы от волнения стучат, — кое-как обротали вздыбившегося на месте, заартачившегося было коня (живая душа, тоже, видать, беду учуял) и ложбинкой, ложбинкой — до Березовки. Летели — колеса вразнос! Правда, у Синь-ключа тормознули было, помедлили, хотели Афоню, черпавшего берестяным ковшом водицу, с собой прихватить, а он — ну, что за человек? — ни в какую!

— Беда! Беда! — орут ему бабы в две глотки и манят на ход.

— Эх, и глуп Кузьма! Вьет плети сам на себя! — поскреб за ухом в ответ им Афоня (а ведь был малограмотный, вместо росписи крестик ставил), подобрал батожок, с ними — ни в какую — хоть лопни! — и заспешил в сторону полыхавшего Верхового поля. (Знать, ему было зачем-то очень важно самому увидеть дело рук фашистских татей).

— Батюшки! Карáхтернай! И зачем его только нелегкая сюда принесла? Под старость еще лише чудить стал! Совсем, видно, не в себе! Вот у кого — ни горюшка, ни забот! — переглянулись тогда бабы меж собой, жалкующими глазами посмотрели Афоне вослед, — кто ж к беде своим ходом ходит? — и рванули в деревню.

Вскорости после этого, спустя неделю, Степанида слегла.

— Скрючило, как коровью лепешку, сама себя уже окарябала, — чуть отхлебнув из кружки кипятку, надрывно закашлявшись, пожаловалась, проскрипела она пришедшей ее проведать мягкосердной товарке Моте.

Ариша бегала по пятам, принесила топли, доглядывала за ней, тщедушной, почерневшей, но к концу октября, как поняла, что свекровка совсем плохая стала, окна и двери Жихаревской хаты — в таком разе крест-накрест (избенка-то, и правда, плохонькая, даже немцы побрезговали, не поселились), и перевела бабку с ее кошунькой Лизаветой к себе в сарай, на соломенный тюфяк, поближе к спасительнице-буржуйке, горячему чайнику, не прекращавшему свои ворчания на проржавленной конфорке.

Романа, как объявился (стояли лютые декабрьские дни), сразу загребли в комендатуру, учинили допрос. И если бы не его строевая непригодность, не его изувеченность и неприкрытая хромота, миндальничать бы точно не стали, не избежать бы ему Афониной участи. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

И то нужно сказать, Господь и тут за него вступился — просидев три дня под замком в Федосьином подвале, после ни к чему не приведшего мордобоя, когда на мужика и смотреть уже было страшно, измочаленно-го Романа все же отпустили.

Как только фрицы, вытащив под руки его, квелого, обмякшего ногами, вышвырнули с крыльца комендатуры, к нему подхватила от ворот, подбежала томившаяся в безвестии Ариша. Не надеясь от врага ни на что доброе, она, загодя, прихватила хозяйские санки-коротышки (забирали Романа — уж и тогда он еле на ногах держался). С горем пополам взвалила она мужика своего, хоркавшего, на солому, впряглась и, обливаясь слезами — места живого нехристи на мужике не оставили: аж мурашки у бабы по телу заползали — поспешила скрыться в свою каморку, подальше от глаз немчурь.

— Ну, погодите, ироды, лешак вас дери, спужаетесь ишо! Супротив Бога не попрете. Отольются вам наши слезы, ой, отольются-а! Наступит и вам каюк! — грозилась она, шмыгая носом, утирая рукавицей слезящиеся от знойного чичера глаза.

Верткая, швидкая поземка, подлетывая, кусала нос и щеки, колючками просекала лоб, повязанный под старенькой белокрайкой тугим ситцевым платком.

Как бедовала зиму, как выхаживала Романа, только ей и Богу ведомо. Совсем сна лишилась. Кроме молитвы душа уже ничего не воспринимала. Порой, когда екало: все, вот он — край, когда Роман, разомлевший и жаркий, забывался и неделями, обсыпанный ядреным холодным потом, бредил, бредил, почти не узнавая ее, когда чудилось, вот-вот отдаст муж

Богу душу свою, когда казалось, вынести все, навалившееся на нее, простому смертному не по силам, тут-то приходилось совсем туго, и она, словно бы и не она, с раскосмаченной косой, кидалась к сыну, рядом с ним она всегда становилась в сто крат сильнее.

— Ничего! Вот поправится папка к весне, — совала Сережке случайным случаем раздобытый сухарь (в эту лютую пору для них это — целое богатство), кунала его в чай из смородинового листа, кормила дите, обещала, и сама в это начинала верить, — напеку вам на Сороки жаворят, подкинет он тебя на горушке высоко-высоко, станешь весну закликать, — чтобы не впасть в отчаяние бубнила она каждый раз одно и то же Сергуньке.

На другой день Крещенья померла Степанида. Копать могилку, хоть ты что хошь, было некому: лютовали морозы, в деревне — полтора мужика, и те калеки. А у баб осталось духу на копейку.

Ариша с Липой, совершенно выбитые из сил, в тот день поздно вернулись с дороги. Уже с неделю, как поднялась несусветная метель, смешала небо с земью, казалось, и конца, и края ей не будет. В иных местах сугробов нагроузило в два аршина. Ночью вдоль деревни по осокорям стучал, ляскал зубами забористый морозяка. Как застогнет все кругом! Как ревмя заревет на разные лады! Надо бы пуще, да некуда.

Гитлеровцы попрятались за ворота, по избам, а за двери на двадцатиградусную стужу, на пургу выставили командовать бабами и подростками полицаев. Под их конвоем — набрасывались с остервенением, лише немцев, ругань, крик! — каждый день березовцы, завязая по грудь в снегу, расчищали от заносов проселок, до самого большака, а это ни много ни мало десяток верст.

— Давай хочь хвойничку наломаем — душеньку разносолом отогреем, все какая-никакая заварка, опять же, говорит мой дед, витаминов в ем — куча, не лежит у меня сердце к вишняку, уже поперек горла дрянной этот чай стоит — черный, как деготь, — приспичило Липе, отогревая дыханием руки, поманила целиной на обратном пути в сосновую посадку Аришу. Как не заколели, с дороги не сбились?

Вот и припозднилась Ариша. Отворяет, значит, двери своего сараюшки, а дома-то — ах, ты, Господи, беда-а! — Степанида еще в обед отошла. Да и Романа хоть рядом клади. Жадно обняла она его — живой!

Зареванный Сергунька в мамкиной вязаной кофте ползает по земляному полу, по соломе, — уж обвыкся — один-одинешенек. Улыбается уже чему-то своему, словно во всем мире — ни войны, ни беды. И как только не ознобился? Даже о голоде Ариша позабыла.

Вскрикнула она, попрочитала по свекровке (а как жа, не сбоку припека — все ж таки Ромушкина мамынька сердешная... смахнула слезы, да и призатихла — особо-то нюни распускать некогда. Сараишко с утра-то по выдуло. Горе — горем, а дело — делом. Зажгла в старушкином изголовье свечу, распалила буржуйку (амбар почти весь на дрова извела), натопила снегу, хоть своим и не положено, но сама (кого поклочишь-то?) обмыла старушку, кой во что почище одела, уложила поудобней на лавку.

— С Фатеевым семейством, с бабой Грушей, земля ей пухом, по-суседски испокон веку за единое сердце жили, почитай, одним домом, — припомнилось Арише.

И чуть забрезжило, нырнула в погреб к деду Фатею (он с Липой, как немцы вытурили их из хаты, туда навовсе перебрался), втащила с собой облако морозного пара и запричитала: так, мол, и так, суседи, не оставьте в беде, надоть свекровку земле предать.

— Ах ты, батюшки! — закрестился старик трясущейся рукой, — да что ж делать-то, Аринушка? — поскреб макушку, — калякай не калякай — метеля, мороз окаянной — плюнешь — накось и ледышка! И до погоста не доползти, ноги подкачало, — задрал штанину, распухли, почернели, — закоченеешь — бр-р, не то что выкопает Степанидушке могилку! Попробуй-ка чичас подолби чугунную землю! — замаячил, зашаркал из угла в угол подшитыми, с обрезанными голенищами валенками, сник голосом, запричитал было расклеившийся дед. Седая борода его мелко-мелко засотрясалась, стекая по ней, из глаз закапали частые слезины.

— Твоя, отец, правда. Может, коло Афони, на бакше, пока в сугробе пригорюним? И приспичило ж бабке в такую лютость помирать! Буранице, как бичом хлещет! — пощуняла Степаниду Липа, присоветовала, — слышала, Герасимовы, как померли их Петюша с Настенькой, у себя на горóде пока в сугробе выбрали две ямочки, да и уложили рядышком де-тишков.

Другого все одно ничего не приискать, а потому, дав проститься Роману с матушкой, завернули они старушку в простынь и похоронили ее по яичной заре недалеко от Афони, вырыв в молочном сугробе глубокую домовину. (А к весне, как сшумнули морозы, как оттаяла мало-мальски земля, упокоили уже Степаниду на погосте.)

На заброшенных колхозных буртах, под соломой насобираала Ариша прошлогодней промерзлой картошки, сварганила из нее «тошнотиков», разделила на всех по справедливости, намолола на ручной меленке (сладил дед Фатей одну на два двора) желудей.

Намело-о! Морозище урчал, влаивал по-собачьи — насквозь прохватывало, аж дышать нечем. Прямо-таки карачун, да и только. От избы к избе не пробраться, след в след не попасть. Но Ариша все ж таки созвала соседей, водрузила на буржуйку большой жестяной чайник, и покуда сидели — слово за слово, — он все тянул и тянул на чугунке свою заунывную песню. Сначала вспоминали добром бабку Степаниду — привечный ей покой, — потом поплакали обо всех ушедших разом.

Сменять бы что, да помянуть по-людски, но «на мену» уже ничего не осталось... Все истаяло на соль, спички, на самое необходимое. В округе были переловлены все галки и вороны, не говоря уже о голубях.

Жили, кормились, как придется, точь-в-точь, как птички Божии. Заголодали, ноги переставлять лишний раз не хотелось. Да и не моглось. Пришла, как говорится, беда, привела на веревочке за собой и нищету.

Даже вездесущий, пронырливый Сергунька присмирел, будто разом повзрослел на десяток лет (ему бы молочка тепленького, парного... Но рябую, однорогую Тоську немцы прирезали и оттащили на кухню в первый же день оккупации).

Березовцы только об одном и толковали: хоть бы поскорее пошла в рост трава! Все-то полегче станет на подножном корму. Хлебом грезили, он казался манной небесной. Толкли в ступке промерзлую картошку, добавляли щавель, теребили березовые сережки и из этой бурды пекли «хлеб». В те голодные дни и такой он был в радость. Нет ничего страшнее голода...

Афоне до похорон на погосте пришлось еще долго дожидаться своей очереди. Ни одна душа в Березовке до сих пор еще не прознала, куда подевалось с виселицы его тело. Но Ариша с Липой не только в своих разго-

ворах уже застолбили для него место, но и проверили самолично, где упокоят его на вечный срок. Под вербицей, недалеко от Степаниды.

На Сретенье, глядь-поглядь, после холодной затяжной зимы, под робкий передызык первых капелей в Романовой хвори случился перелом. Не сказать, чтобы все как рукой сняло, но дело подвинулось, у Ариши сладко обмерло сердце, радости не было конца-краю — ну, теперь все на лад пойдет, не может не пойти!

Видать, Аришина забота и ласка, Фатеевы корешки-травы сотворили свое — мужик-таки встал на ноги. Еще бы! Дед — не в похвальбу — лекарь еще тот! Обустроил один из отсеков своего культяпистого убежища под баню и время от времени привозил в нее на санках Романа. Хлестал-растирал его в этом теплом углу травяным веником, окачивал водой с причетом, шептал, шептал, разводил руками, будто какой-то взаимправдашний колдун (и, поди ж ты, ведь это же чудо!), — полегчало мужику!

И он, заглянув в чулан, сдернул с гвоздя свою финскую шинель, ту самую, что досталась в лагере по случаю, в которой вернулся он год назад до дому. Накинул ее и первый раз за два месяца, хоть и оглобля оглоблей, но все-таки на своих двоих — потяну-уло! — вышел на вольный дух. Уселся перекурить на приступок сарая...

Через полтора месяца, даже Ариша не ведает, где, он раздобыл с полпуда овса.

— Пора, — невтерпеж мужику, — хоть какую-то часть хозяйских работ перевалить на свои плечи.

С горем пополам вскопали бакшу, правую ее часть, до самой Афонинной могилы, засеяли драгоценным овсом, а на остальной, чтоб не пустовала, натыкали, насобирав по соседям (и у них ведь негусто!) всякой всячины: чуток лучка, чуток моркови, пару гряд бурака (не до столовой, бурак-то куда крупнее).

В ту весну, заметила Ариша, засиротела в желтой кипени акации никогда раньше не пустовавшая скворечня.

А потом свалилась еще беда.

— Хоть руки на себя накладывай! — прибежала Лимпида к Жихаревым, плюхнулась на коник, как куль с мукой, обожгла своими страшными речами, забулгатила-ась!

— Типун тебе на язык! Ты чего колоколишь-то? — прицелкнула языком, осекла ее с маху Ариша.

— Поглядите-кось, по деревне не есть числа бумаги развешены — супостаты, язвы их, ишь чего уздумали — молодежь на работу в Германию гонят, человек сорок. Вызнала всю подноготную, к листкам-то попригляделась: и я тамotka... после завтра к восьми утра к комендатуре с вещами... Ой, милай, да что ж мне делать-то? Прямо — край! — голосом, ищущим защиты и сочувствия, разрыдалась на весь сарай соседка.

— Погоди, подруженька, не надрывайся, Сережку испужаешь, — на ходу вытирая подолом завески руки, опрометью кинулась ее успокаивать Ариша, споткнулась, рассыпала плетушку с очистками (вырезала «глазки» на посадку), — ты приходи попожжа, как стемнеет, что-нибудь придумаем.

И придумали же! Пообшарили чуланы и вечером, на дощатой столешне под коптилкой из противотанкового патрона, без опаски вытравили Липе руки-ноги каустиком.

— Слух был: дрейфит чертово отродье, с сыпями да язвами, расплывшимися по телу, в рейх не пускают, кто ж распростертыми объятьями к себе на двор заразу впустит? — перешептывались по деревне.

Липу после того, что она с собой сотворила, неожиданно оставили в Березовке. И она, рада-радешенька, кой-как оклемалась.

Как в то дикое и страшное время Березовка, захлестнувшись чувством безысходности и тоски, мыкала горе под немцем, Митрохе не предоставилось случая увидеть, не знал он и то, что пятнадцатилетнюю сестру его Марусю, прикомандированную фрицами чистить при их кухне картошку, мать сыскала — греха таить нечего! — полуживую в Алексашиной хате, где квартировала дюжина германцев. Пообжившись, наместырились они было по березовским бабам бегать. Да накося-выкуси! Не на тех нарвались!

— Ох! Да что ж они, аспиды, издела-али-и! Заломали цветочек да полевой, лазоре-евый! — причитала, уткнувшись в подушку, рвала на себе от горя побелевшие косы матушка.

Помешанная, оборванная, Маруся просьпала на солдатской постели свои любимые, привезенные в подарок братом Митрошей, бусы-«антарки». Избитая в кровь, погрузившись в обморок, она не могла ни стоять на ногах, ни расповедать закаменевшую в груди ее обиду-боль поседевшей, словно лунница-сова, матушке.

Но как только добралась до своего подворья, все же пересилила себя и к заутрене, жалобно поскуливая, попыталась уладить свои потаенные дела, битый час протолковав перед божницей со Спасителем. А потом сама себя сжила со свету — втихую, трижды перекрестив себя и окружавшую ее тьму, накинула на шею удавку, спрыгнула с лавки посередь онемевшего без животины амбара.

Ей бы отболеть да забыться... А она ишь чего содеяла! Ишь какие мысли прироились в ее несчастной, охваченной непроглядным мраком головошке! Знать, не из таковых... Ну, так бери не бери в ум, а горюшко, коли оно несусветное, ни засть, ни запить, камнем стопудовым ворочалась оно, видно, в ее душеньке... Совесть-то пяткой не затопчешь.

Митроха об этой беде узнал ровно за неделю до того, как оккупанты, согнав всех жителей деревни в обоз и прикрываясь ими от налетов нашей авиации, погнали на запад.

Откуда он припожаловал в конце июля сорок третьего в такой, неведомой в Березовке форме, не догадывалась даже его родимая мать. Да и сам себе он боялся признаться, где обретался два этих страшных года.

А одет Митроха был в униформу солдата СС РОНА (так называемой Российской освободительной народной армии). Китель — без петлиц, но с погонами, на правой стороне груди, там, где немцы носили имперского орла, — нагрудная эмблема, на левом рукаве вместо орла СС — нашивка РОНА, на голове — пилотка германского образца, но тоже без орлов СС, вместо черепа — кокарда с сиянием.

Добравшись до родной околицы, еще не зная точно, чья в деревне власть (фронт неотвратимо подкатывался к Березовке), ни от наших, ни от ненаших ему уже все одно — несдобровать, забросив в заросли таволги, чтоб глаза не царапала, белую нарукавную повязку с черной опостылевшей надписью: «Im Dienst der Deutschen Wehrmacht» (и раньше-то она

ему была — не пришей кобыле хвост), он обшаривал местность глазами, осторожничал: снять ли, не снять эту поганую форму. Но все разрешилось само собой, когда он, затаившись в орешнике, услышал резкий сухой окрик постового на катившего на возу пацана: «Halt!». Смекнул: рановато он затеял переодевание.

Коли все дороги уперлись в тупик, коли убиты все желания и уже не верится, что завтра снова для тебя взойдет солнце, все-таки в самых дальних закоулках души у каждого теплится хоть какая-то, самая малая искра надежды.

Война изломала, искалечила миллионы людских судеб. Не пожалела она и Митроху — в бараний рог скрутила и его судьбину. Одно-единственное осталось у мужика желание после всех своих злоключений: напоследок взглянуть... — ну хоть издали... хоть мельком — на мать, на сестренку, прислониться плечом к косяку батиной хаты... да хочь с могилками дедов попрощаться... Одним словом, хватался за соломинку с родной крыши. А там... будь что будет!

Но больше всего на свете стремился Митроха... Abteilungsfuehrer Mitrofan Sazonov к Арише, к безответной, неувядающей своей любви, — полз, пробирался украдкой, подальше и от Красной Армии, и от оккупантов, сначала из Камаричей (из Локотской республики), потом из Дмитровских лесов.

Не раз, пытаясь разобраться в самом себе, докопаться до самого донного доньшка, день за днем прокручивал он события двух последних лет, порушивших окончательно его жизнь.

«Знать, для меня сказано: «Героем упадешь — судьба поднимет, трусом упадешь — раздавит», — снова не было ему покоя после встречи с Романом, невольно принуждала она признать за собой эту слабость. — Вроде и трусом никто никогда не считал, а вот, вишь ты, — раздавила жисть!.. Даже у Романа под прицелом моего автомата есть выбор, чувствуется какая-то несокрушимая силища в его душе... А у меня вовсе никакого выбора не осталось. Лучше б там, под Степановкой, себя пристрелил!»

Бросив Романа помирать, Митроха тогда, разыскивая своих, заметался по березняку. А дальше надо бы обсказать все чередом.

Налет закончился, но все яростней вытрескивали автоматные очереди, все реже слышались ответные винтовочные выстрелы.

Митроха, не будь лопухом, нырь в ложок, а уж навстречу ему сквозь высоченную овсяницу, в которой и черт ногу сломает, цепью прут фрицы. Перевел он малешки дух — и к речушке, но не тут-то было — на другом берегу еще одна цепь автоматчиков. Идут себе с прохладцей, вдоль брусничного заката, на губной гармонии наигрывают.

— Господи Исуси! Да что ж это такое?! — рванул он было по шпалам наутек, назад, и тут же выпучил глаза, застыл, как парализованный: вдоль насыпи, прямо на него, с поднятыми руками к развалинам станции гитлеровцы турили десятка три-четыре наших ребят, не успевших сделать на передовой ни одного выстрела.

— Э-эх! Дал-таки маху! Не знаешь, в какую дыру ткнуться. Не иначе, обложили! — обронил, только успел смикитить Митроха, и тут же крепкий удар прикладом в спину, втолкнул его в колонну.

— Ein weiteres! — крикнул своим конвоир.

А потом... потом столько пришлось ему натерпеться — на десятерых хватит! Пока к декабрю не определили его, умаявшегося постоянными

дорогами, в Stalag-358 — житомирский «Освенцим», нацистский лагерь для советских военнопленных в районе Богунии, его перебрасывали из одного дулага в другой: и в товарных, будто какую скотину, вагонах, и пешедралом...

И опять толкнулось в памяти: по пути два раза удавалось бежать. Первый раз догнали собаки в перелеске быстролетно. Через час-другой тоже не увенчался успехом — постучался не в то окно... к христопродавцу, к старосте. Измордовали, конечно, до бесчувствия, словно пропустили через мясорубку...

Третий же раз бежать не хватило сил да и не выдалось возможности — Stalag-358 по своей жестокости к узникам ничем не отличался от Бухенвальда, Заксенгаузена, Майданека. Хоть и не было в нем газовых камер и печей, фашисты умудрились в его застенках погубить, словно тлю какую, шестьдесят пять тысяч советских солдат!

— Arbeit macht frei! — эти слова, написанные на воротах Освенцима, любили повторять и здесь, в украинской глубинке, в шталаге-358, стационарном лагере для рядового и сержантского состава. Каленым железом выжглись те слова в Митрохином сердце.

Он, мужик не из хлипких, к концу декабря от непосильной работы и беспросветного недоедания еле ноги волочил. Еще бы! На день узнику полагалось шиш да ни шиша: «Fressen!» — четыре грамма жира и двести пятьдесят граммов хлеба (если этот суррогат, на который и смотреть тошно — из опилок и еще черт знает из чего — вообще можно было называть хлебом... но даже его было не вволю).

А накануне Нового сорок второго года (немцы как раз праздновали свое Рождество) узникам перестали выдавать и этот сверхнищенский паек.

— Совсем, чертово отродье, остервенело, голодом изморили — утерпежу нету. Работать им, душегубам, за здорово живешь — подавай, а кормить — хуже собак кормят, — заходилса духом (а сколько ж можно свое горе в себе держать?), клял беспрестанно лагерных унтеров Митроха. — Режь ты меня (Бог сметкой-то его не обидел), блюдут какой-то новый интерес.

Как угадал! Три дня, не имея маковой росинки во рту, даже самой поганой баланды, он вместе с другими узниками чистил от снега широченной деревянной лопатой проходы между бараками.

После этого на утренней поверке Митроха стоял — в чем душа держалась — словно во сне, не понимая, тут ли он или уже на Том свете? Временами ему казалось, что небо, какой-то густой-прегустой синевы, стонало стоном, наваливалось на него, придавливая, и земля расплзалась изпод ног.

И тут перед двумя тысячами оголодавших пленных, выстроенных на плацу, вышел представитель РОНА, одетый в форму офицера СС и заговорил зычным голосом, на чистейшем русском, доходчиво и понятно.

— Солдаты и сержанты! Буду краток. Я, ваффен-гауптштурмфюрер Юрий Самсонов, обращаюсь к вам от имени командования Российской освободительной народной армии и лично бригаденфюрера СС Бронислава Каминского. Предлагаю Вам вступить в наши ряды и рука об руку с десятью тысячами русских патриотов-добровольцев при поддержке нашего друга и союзника — германского Вермахта приложить все усилия по искоренению большевизма и коммунизма на территории бывшей России. Даю вам полчаса.

За это мучительно-долгое время шаг вперед сделали трое. На глазах у остальных пленных дохляков их отвели за колючую проволоку, усадили за стол, под свист и улюлюканье остальных принесли обед.

— Хавают шкуры так, что за ушами трещит! Радехоньки! Чтоб вы подавились, иуды! — аж привстали с тайным чувством зависти на дыбочки, загомонили изможденные на плацу, дескать, выволочку бы им, стервецам, устроить, по зубам бы этой троице надавать, рази ж они одни такие здесь, а другие-то стерпели вот.

Их оставили голодными до следующего дня. Наутро перед узниками снова вышел Самсонов, и снова склонялся перейти на сторону РОНА. В этот день за столом сидело уже десять человек.

Так продолжалось изо дня в день на протяжении недели. Когда пошатнувшийся Митроха — гольные кости, — наконец-таки, не сдержался и, падая в обморок, заступил черту, его подхватили и оттащили за стол. Он почти ничего не съел — живот скрутило в три погибели, и Митроха очнулся в лазарете.

«Хрен вы угадали! Дайте только выбраться из этих стен, — перевернув плечами, лелеял он тогда мысль о побеге к партизанам, — а уж если, скажем, в руках автомат окажется, только меня вы и видели!.. Нашли, суки, предателя!»

Но система вербовки была отлажена с немецкой точностью, и, конечно, были просчитаны, предусмотрены всяческие варианты. Вырваться из этих сетей не было никакой возможности.

— А слышал ли ты, Сазонов, о сталинском приказе №227? — поинтересовались у Митрохи после соблюдения некоторых формальностей и письменного подписания контракта. — Согласно этому приказу все пленные советские воины приравнены к предателям. Так что поздравляем! Ты сделал правильный выбор — для Красной Армии Митрофан Сазонов отныне предатель, дорога назад тебе заказана. Все особыты вывернут о тебе наружу, все распознают, все держат под контролем, не только твое происхождение, где участвовал, в чем состоял, знают даже из каковских дед-прадед. — И принесли униформу: — Переодевайся, готовься к назначению.

А местом назначения оказалась Локотская республика, с центром в поселке Локоть на Орловщине, что расположен в каких-то двух сотнях километров от Березовки. Вместе с Митрофаном Сазоновым туда отбыли еще сто новобранцев РОНА.

— Ну, уж черта с два вы меня здесь удержите! — тогда все еще бодался, надеясь на побег, Митроха.

Там, в поселке Локоть, где в бывшем дворце Великого князя Михаила Александровича Романова разместилась резиденция обер-бургомистра Бронислава Каминского, немцы, внешне не вмешиваясь, попробовали передать все вопросы местного значения, в том числе и непосредственное участие в борьбе с белорусскими партизанами, в ведение органов местного управления. При поддержке оккупационных властей образовалась республика, небольшая страна в тридцать тысяч квадратных километров, с населением шестьсот тысяч человек, округ, в составе которого оказались Дмитровск, Дмитриев-Львовский, Комаричи, Михайловск, Навля, Севск, Суземка. С русской администрацией, налоговой и административной системой, даже собственной нацистской партией «Викинг». И со своей армией — РОНА, около десяти тысяч человек (целая дивизия!), половину из них — военнопленные. Впоследствии из РОНА была сформирована

29-я ваффен-гренадерская дивизия СС, но об этом уже Митроха узнать не успеет.

Пообтершись в водовороте событий меж локотцев, перезнакомившись, какого люду он только не насмотрелся. В компанию эту попадали по-разному. Каждый своим путем. Прибывались даже бежавшие в девятнадцатом за границу белогвардейцы.

Среди местного населения до установления Советской власти было много зажиточных (испокон веков не хуже добрых людей жили, как-никак, вотчина Великого князя, крепостными они никогда не были, мошна редко у кого худая). Ясное дело, колхозы таким хозяевам — нож по сердцу. Какой камень держали за пазухой на Советы, какими черными словами поминали коллективизацию двадцать девятого-тридцать второго! А голод?... А вездесущее НКВД?!

Ох, не по нем эта жизнь! Кому ж по нраву в чужом гнезде обретаться? Не по пути было Митрохе с локотцами... не по пути...

«Как же уцепилась тогда маманя-то за соху... Господи, как она там?... Земной поклон ей... «Убей меня, не отдам! Что ж ты в гроб-то меня, сынок, вгоняешь? — зачала кричать, — последнее со двора несешь!» — вспомнилась Митрохе весна тридцать второго, когда они с Ромкой, счастливые и окрыленные новым, общим делом, которое здорово пришлось им по душе и захватило настолько сильно, что они, объехав уже полдеревни, на отобранном у кулаков Селивановых (для общественных нужд) Воронке, хмелея от надежд и планов, копались во всяческом хламе, разыскивая в сазоновском сарае «шанский струмент», хоть мало-мальски пригодный в крестьянском деле.

Люди остаются людьми. Откровенничать в Локте — не разоткровенничаешься, языку волю особо не дашь, а потому Митроха (да, как и все остальные) думки свои от посторонних старался глубже припрятывать в себя, да и сам держался в стороне. Правда, взгляд от этого стал у него какой-то дикий... А кличке своей — Молчун — он даже обрадовался: меньше в душу станут лезть. Да, молчание здесь — неоценимое сокровище...

Что его удручало? О чем молчал? Не скрою, да хотя бы о том, что не мог поверить, не укладывался тот, проклятуший закон, за номером двести двадцать семь, у него в голове.

«Небывальщина какая-то! — крутилось и крутилось в его распаленном мозгу. — Как могла отвернуться от него, от сотен тысяч... миллионов других военнопленных (не пасынков чужеродных, а собственных сынов!) Родина-мать, которую он пошел добровольно защищать, которой так гордился? Или утратилась, оскудела ее любовь к своим детям в разгар такой беды, в это дикое и страшное время? — И так, и эдак раскладывая он, все никак не мог угомониться. — А может, у нее не спрося, от ее имени вершит кто-то иной?» — тут же откидывал он свои упреки.

Не время теперь... Да и не в этом даже суть... Ведь не просто от нас отвернулись, — с новой силой закипала Митрохина душа. — А всех под одну гребенку, попавших в плен по разным причинам (в большинстве случаев не зависящим от нас, рядовых и младшего комсостава, а мы-то — людишки маленькие), признали предателями!

Не было дня, чтобы Митроха не думал, не прикидывал, что ждет его, подвернись ему случай возвратиться обратно.

— Многого не посулю. Выбор у тебя небольшой, — поскрипывая новыми сапогами, прошелся по кабинету, испытующе взглянул на переминавшегося с ноги на ногу Митроху, Роман Иванович, начальник Локотской народной милиции, чмокнул губами. — Или к нам, или в полицию (и он был бесконечно прав), и еще, хрустнув пальцами рук, добавил: «Сказали — сделал, поручили — исполнил. Заруби себе на носу: ты здесь покамест человек не козырный — круглый ноль».

«Сыпь, бреши! Один черт! Житухи ихней окаянной и даром не надоть! Все равно — до первой удобной минуты! Должно же когда-нибудь закончиться это затяжное ненастье, — решил тогда про себя Митроха. — А там... пусть наши, что хотят, то со мной и делают».

Ну, не видел он того, чтобы вся его последующая жизнь протекала под лозунгом: «Долой коммуняк!», еще гнал от себя все настырнее наседающее чувство безысходности и тоски, — и выбрал милицию.

Справедливости ради надо заметить, что к тому времени, к январю сорок второго, в Локте в ее рядах уже было ни много ни мало — восемьсот человек. Тоже сила! Как-никак — два батальона. Отделение, командиром которого Сазонова назначили уже через месяц, дислоцировалось в деревне Красный Пахарь.

12

А первое его боевое столкновение совпало с самым первым крупным сражением локотцев с брянскими партизанами, восьмого января сорок второго, на второй день Рождества. (Надо же! Именно в этот день в сороковом его крестовый брат Роман тоже попал в смертную коловерть. Даже испытания посылает им Господь схожие).

Предвидя нападение, по приказу бургомистра Воскобойникова в Локоть накануне Рождества были подтянуты отряды милиции. Из Красного Пахаря срочным порядком призвали со всем отделением на защиту городишка «от красноперых» и Митрофана Сазонова. До этого-то его бойцы, измаявшиеся от безделья, прикупив на локотской толкучке колоду замусоленных карт, резались в дурака.

Все представилось Митрохе до четкой ясности. По сути дела на второй день Рождества в Локте была настоящая бойня, беспощадная, буйная, неумная, между пятьюстами работниками НКВД и отрядами Локотской народной милиции. На воспоминания об этом крошечном ужасе у Митрохи не хватало мочи. Да и воротило с души: хотел — не хотел, а пришлось ввязаться.

— Боже ты мой! Печаль его даже иная — руки запачканы не фашистской, а русской кровью! И надейся не надейся — не отмыться во веки веков!.. Повязался по ногам — по рукам...

Самому себе не верилось в то, что с ним произошло, ведь в жутком сне не могло присниться, что так зло подсидит его судьба... Кому станешь объяснять, кому докажешь, что, коли не ты, так тебя? А заприметят, что отвиливаешь — локотчане сами пришьют, — столько крови людской — ослепнуть можно — до той злосчастной ночи Митрохе еще ни разу не приходилось видеть! Вот когда осознал он, наконец, что назад ему дорога теперь уже точно заказана, вот когда клял себя за свою нестерпимость на лагерном плацу.

Правда ли, нет, но старые люди говорят, что глыб ночная человеку дана для раздумий. Сколько их, от зари до зари бессонных ночей, сотря-

савших его покой, истерзавших в локуты его душу, было с того кровопролитного январского сражения? И вот что непереносимо — каждый раз возникают перед ним глаза того молоденького парня, что скошил он напропалую перед локотским маслозаводом, — первого убитого им человека... Упал он... раскинув руки на нетоптаную порошу в углу двора, рванулся, было, в агонии подняться, но скорчился, свернулся клубком, да так и затих... Даже сквозь темную голубень ночи было видно, как с левого боку из-под его овчинного кожуха распушался алый гераниевый цветок.

Потом были и второй... и десятый... Но первый не отпускал его, не давал покоя ни днем... а особенно ночью. И каждый раз на смертной черте смотрел он с такой ненавистью, что мурашки начинали ползать у Митрохи по спине от невозможности стерпеть пронзительную предсмертную ярость тех глаз.

— Э-эх, каса-атик! Что ж ты натворил-то, Митроха! Знать, совсем у тебя в сердце Бога нетути! — вдруг забушевал, зашипел на него гусем собственный разум, вскинулось сознание.

Сам себе ведь не слукавишь! Это было выше его сил, но странно — его тянуло заглянуть вживе в те, потухающие, глаза снова и снова. Может, чтобы окончательно сплелось в его сознании, что с того момента, когда он не выдержал, заступил в шталаге черту... переступил грань между смертью и предательством, выбрав второе, он стал ненавистен не только тем, с кем ему теперь приходилось сражаться... тому, убитому им, молодому русскому парню, но лише чего не бывает — самому себе!

Память в десятый раз пережевывала и пережевывала... Вроде и уколоть себя, Митрофана Сазонова, нечем — просто он оказался быстрее, а вот поди ж ты — мутится рассудок! Может, зазря убивается? И правда... А иначе тогда, в январе сорок второго, на заснеженном локотском погосте, где сирень смешалась с жасмином, выхлопотал бы и он себе местечко коротать остатнюю вечность, вырос бы еще один черный холмик. И никто-никто из родных, никогда-никогда на свете об этом не узнал и не пришел бы ему поклониться, покрошить на Пасху куличик, положить на Спас краснощекие штрифелины... Вот как оно выходит.

«И что за мысли? Туда-сюда носят, только на и так горбатую мою душу смута! Ну, об том ли думать, размазня? Чего теперь всхлипывать? Сам себя в слезы вогнал. Ну, было и прошло, можешь ли, наконец, своей башкой понять?» — корил, останавливал он себя, размякшего, разносил в пух и прах.

Казалось, притихший обоз уснул. Вот только Митроха... Час прошел. Другой, третий прошел. Нагулялся ветер, устало пал. Лунный свет, леденящий, бессердечный, наконец, загустел. Все еще стояли, не низверглись с вышины, колюче мерцали окропленные слезами звезды. Редко падали неторопливые снежинки. А провористая память — ей не до чего — все одно занималась своим...

Отряды НКВД, напав на ночной городок Локоть, оказывается, моргнуть не успели — потеряли более половины своей численности убитыми и ранеными. Через два часа после начала боя, побросав множество лошадей, пулеметов и боеприпасов, остатки их укрылись в лесу — операция не удалась.

Между прочим, яростно сопротивлявшиеся в ожесточенном бою локотчане тоже понесли немалые потери — пятьдесят четыре убитых и бо-

лее ста раненых «народных милиционеров» погубило и несколько десятков жителей городка. На операционном столе в тот же день скончался тяжело раненый бургомистр Воскобойников.

«А ведь вот когда надо было попробовать... взять и обернуть автомат в другую сторону, — сетовал на себя Митроха. — И почему мы так хорошо соображаем задним умом?.. Упустил такой шанс! А была ж, была возможность именно в том бою! И греха бы столько на душу не принял.

И снова в памяти замелькали, словно оброненные охапки ржаной соломы на укатанном санями проселке, зимние события сорок второго...

Руководство тогда взял в свои руки Бронислав Каминский. И развернул милицейские отряды Воскобойникова в РОНА, численность которой к началу сорок третьего достигла пятнадцати тысяч человек (милиция увеличилась с двухсот до тысячи двухсот).

Вооруженная более чем пятьюстами пулеметами, сорока минометами, десятью танками, десятью бронемашинами и множеством другой техники РОНА чувствовала себя достаточно уверенно не только на территории Локотской республики, но и за ее пределами, во многих районах Брянщины.

— Господи! Как бы ни хотелось, не стереть, не вымарать из памяти этих двух необратимых лет! — сокрушался Митроха. — Думал: отчиплюсь от них, доберусь в Березовку... А оно вишь как повернулось? Попала в колесо собака — хрипит, а бежит... От одних убеги, теперь вот, выходит, с влосовцами спознался, да когда ж этому наступит конец?.. По всему видно: так ли, сяк ли, но скоро... потому как жить с такой ношей за пределами... разве такое вообще забывается? Да хоть в ноги бухайся, хоть лоб расшиби, уж точно — не простится.

И снова зашипела, взбунтовалась, не давая покоя ни на минуточку, устроила самосуд безотвязная память... она самая... Скоблит и скоблит где-то глубоко внутри, будто ножом по оконному стеклу...

Одиннадцатого апреля сорок второго (Он был! Был! Был там!) сожжена деревня Угревище, расстреляно сто человек! В тот же день уничтожена деревня Святово — подумай только — сто восемьдесят домов! Спалили сто пятьдесят домов еще и в Борисово! Сто семьдесят — в Берестеке, мало того — убит сто семьдесят один житель этой деревушки. Как после такого пить, есть, спать, вообще ходить по земле?!

Память... прям-таки ветка шиповниковая, а не память... Ее ведь, всевидящую, всезнающую, всепомнящую память эту, не нагреешь, не обманешь! Не унималась, копалась и копалась, перевероршив, избуравила все нутро, выворотила наружу даже самые малые, вроде уже и призабытые события.

И ведь ржой не покрывается. Все ей, дотошной, мало. И так хоть моток накидывай, а она стебает и стебает. Безжалостно, наотмашь, в кровь. Колет и колет. В глаза, в сердце. Ставит тавро — ничем не свети — на самую середку души. Не щадя, разбирает на мелкие косточки всю его двадцатидевятилетнюю жизнь.

— Надо же — и тридцатника нет, а уже до седых волос дожил!.. — ни чему уже не удивляясь, как-то заприметил редкую посеребренную скань на своих висках Митроха.

А может, это над ним куражится самая что ни на есть подноготная совесть? Вот опять заерзала от нетерпения, застонала безотвязная, словно смертельно раненная, загуляла по крови...

С тридцатого апреля по одиннадцатое мая в районе деревень Тарасовка и Шемякино части Народной Милиции вели тяжелые встречные бои с бойцами Кокоревского партизанского отряда. Долго еще не мог выветриться из прилегающих лесов запах смерти — бои закончились полным разгромом партизан. В селе Красный Колодец публично казнили их командира Чичерина. Ему отрубил голову командир бронетанковой группы Юрий Самсонов. Тот самый Самсонов, который в последних числах сорок первого завербовал его, Митроху Сазонова, узника шталага-358, в ряды РОНА.

Дальше-больше... Поперли шнырять по округе! В сентябре сорок второго подпалили четыреста пятьдесят домов деревни Саптановка, убито восемь человек.

Что ни месяц — то кровь и пожарища. К примеру, в ноябре в районе Сухой Катыни уничтожили более двухсот партизан, сровняв с землей сорок дотов и пятьсот землянок (ай, первый раз?)

— Цыц! Тихоней прикинулся? Не финти! Участвовал! — прикрикнула на снова благословившегося стакашком Митроху тверезая память. — Раздавить бы тебя, как таракана! Какие тут могут быть еще льстивые речи да мудрствования? Помалкивай в тряпочку не помалкивай, кайся не кайся, перед собой-то не отопрешься... помни, не пропускай мимо сознания, не смей забывать: участвовал и в операциях «Белый медведь I», и «Белый медведь II». Голова, говоришь, уже тяжелая, как гирия?.. Ничего, куда ты денешься! Привыкай терпеть... А скажи-ка лучше, скольких из тех ребят скоил тогда ты?

Сразу два партизанских отряда истребили за время этих операций: семьсот смертей... семьсот погибших русских мужиков... Ад сошел на землю, а у тебя, Abteilungsfuhrer Mitrofan Sasonov, даже ни одной царапины, сыт, пьян и нос в германском табаке! И долго ты еще, шкура, будешь попирать фашистскими яловыми сапогами свою землю?

Правда, в марте сорок третьего в Топоричном, под Севском, «каминцам» пришлось туго — рано или поздно, но они были вынуждены столкнуться с регулярными частями Красной Армии — и Митроху не игриво ранило. В ночном бою конник полоснул его с лету пашкой и, не задерживаясь, полетел дальше, крошит «каминцев» налево и направо. Митроху из того боя, хоть без сознания, но все же вынесли, и он, провалявшись неделю в бреду, все-таки сдюжил.

А прорвавшийся тогда в тыл немецким войскам второй гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова продолжал удерживать Севск со второго по двадцать седьмое марта.

В середине лета сорок третьего Митрофан Сазонов получил новое назначение — ни с того ни с сего, как молния в ясный день, его вдруг перевели в пятый стрелковый полк под командованием капитана Филаткина.

А тут разыгралось Курское сражение, и фрицев сокрушили — мама не горюй! У Митрохи, жадно ловившего малейшие просочившиеся с фронта известия, заскребли на душе кошки, давно уже перестал он бояться своей роковой черты: «А-а! Что зазря топтать землю? Все одно уже! Скорей бы конец! А то, видать, смерть забыла про меня, нейдет».

«Каминцы» ущупали — плохо дело, все отчетливей и отчетливей загуляли меж них слухи о скором перебазировании в Белоруссию. Ну, уж туда вместе с ними Митроха не собирался ни за какие коврижки!

Сон ушел окончательно. Волна за волной накатывали мысли...

В конце июля в Дмитровских лесах (до дому — всего ничего, каких-то верст двадцать пять — раздумывать больше некогда) улучил момент, как пал сумрак, просто-напросто зашвырнул гневно автомат в густые заросли орешника и сказал себе: «Баста! Терпелка спортилась! Пошло оно все к ляду! Так и так — смерть».

А потом, днями отлеживаясь в желто-белесых бурьянных оврагах, шел наугад чавкающим ночным бездорожьем, лосиными тропами, несся, сломя голову, черт знает какими стежками (ему не нужно солнце, у него чутье: завяжи глаза, покружи на месте сорок раз, он все равно выйдет), домой, в Березовку. Тогда и положил обет: «Там конец свой приму!»

Если, не найдя Митроху среди раненых и убитых, его и хватились, вынюхтили, то по следу точно не кинулись — пусть, мол, катится ко всем чертям! — не до того, свою бы шкуру удозорить, спастись бы, — все к тому шло...

Только теперь, конвоируя вместе со власовцами березовский обоз (немцы, как только клюнул жареный петух, погрузились в эшелоны еще в Почепе), Митроха узнал, что случилось за эти месяцы, после его исчезновения, с Локотской республикой и с ее войском РОНА.

Оказывается, да это надо было и предполагать, в течение сорок третьего на сторону партизан с оружием в руках вообще перешло четырнадцать тысяч бойцов русских формирований разных мастей: и каминцы — РОНА, и власовцы — РОА, и казаки — «Казачий стан», и из КОНР — Комитета освобождения народов России, и из дивизии «Русланд», и из нацбригады СС «Дружина»... Одного поля ягоды.

Окрыленные победами на Курской, летом сорок третьего брянские партизаны оправились от своих первоначальных поражений и стали крепко трепать «локотцов»: РОНА несла большие потери (было совершено несколько покушений на Бронислава Каминского).

Когда же «каминцы», принимавшие участие на стороне фашистской Германии в операции «Цитадель», зачуяли неминуемый крах, в спешном порядке рванули из Локтя в Белоруссию (шесть тысяч бойцов) вместе с гитлеровцами и двадцать пять тысячами гражданами. Правда, там их не шибко-то дожидались — население не приняло их на дух, а партизаны, так те наподдавали таких пинков, что «локотцы» были и сами себе не рады.

Ну, это было чуть позже, а тогда, в том самом бою, в Дмитровских лесах, Митроха, и правда, не на шутку заметался, обхватил голову руками: ни с «каминцами», ни с немцами ему не по пути, а русские — сдайся *Abteilungsführer Mitrofan*, тотчас, не раздумывая, сотворят и суд, и расправу — поставят к стенке.

Вот тут-то (на что надеялся?) насобирал он в кучку смелости и решил плюнуть на всех — вернуться втихую... пробраться во что бы то ни стало в Березовку.

Прийди он несколькими днями позже — очутился бы в освобожденном от германцев районе, и одному Господу известно, что бы все-таки с ним случилось, а вернулся — тут немцы презлющие, драпают. С ними власовцы, матерясь, брызжа слюной, с отчаяньем и остервенением — куда деваться? — все еще продолжают, будто псы сторожевые, расторопно прислужничать фрицам, отползают к западу, прикрываясь березовцами: его, Митрохи Сазонова, родичами, хоть и бывшим, а все ж таки другом, ин-

валидом Романом Жихаревым, и что вообще невыносимо стерпеть — любовью его горькой, Аришей...

Так прошло три месяца, томительных и долгих.

«Нет сил на горемычную смотреть, теперь вот еще и мальчишку ее, Сережку, ни в чем не виноватого, изуверы в лагерь упекли, сгорит ведь, как порох... секи мне голову — порешат... Хоть Бог — не Ивашка, и видит, кому тяжело, но при такой кровище жизнь пятилетнего пацаненка — эка невидаль! — бесценно, паршивой понюшки табака не стоит», — шевельнулось в Митрохе на утренней поверке сострадание, и он, затоптавшись на середине обоза, чтобы собраться с мыслями, поотстал от власовцев, не доходя трех подвод до жихаревской.

13

Меж тем не успели они и назад повернуть, хватъ — несутся от старосты вестовые, заколготились, засозывали всю охрану к головной телеге, к Кузьмичеву.

— Так, — пошел он сразу с карьера в галоп, — разлалакивать особо некогда, вынайте руки из карманов, принимайтесь орудовать, делов невпроворот: на станции под наш обоз пробили пять товарных вагонов. Понимаю: не воткнуться, ну, дак в тесноте — не в обиде, по пути разберемся. Главное сейчас — чем скорее, тем лучше убраться из этих проклятых лесов. Мы вот пока что милованы, а обоз из Укосного попал, как кур во щи, — нарвался на шыревских партизан, наших, всех до одного, без суда и следствия порешили. Так что поглядывайте, через три часа, не медля ни минуты, снимаемся — и к обеду, пройдя там же, на станции в спецвагоне, санобработку, должны будем растолкать березовцев по составу.

Боясь упустить последний шанс, сквозь шум, гам и подстегивающие окрики власовцев Митроха рванулся к Арише, в конец обоза. Бабы галдели, носились как угорелые — зуб на зуб от страха не попадал — вертелись, словно вода на мельничном колесе. Бренчали посудой, утаптывали на телеги раскиданные вокруг костров пожитки. Пищала, хныкала детвора, храпели загоняемые в обротя кони.

Завидев Аришу, Митроха оторопел. Она, совершенно потерянная — в голове все путано, туманно, казалось, лишилась языка, — никуда не бежала, ни за что не хваталась, сидела себе на телеге, прикрыв руками прорех уже не застегивающейся на животе плюшки, и не замечала всеобщего гвалта. Переполох этот ее вроде и не касался — усталилась на стезжку, свильнувшую меж елок к брусничненскому проселку, и замерла. Только вот губы все искусаны в кровь. Сидела, наверно, так, не шелохаясь, уже около часа, с тех пор, как перекрестила она истово уходящего к сыну Романа.

Митроха ни о чем у нее не справился, не стал собирать разбросанные вокруг телеги хархары, молча завел швыдкой поступью в оглобли коня.

— Если хочешь спасти хоть этого, — кивнув на выпяченный Аришин живот, промолвил цепенеющим от напряжения голосом, — не глупи, молчи!.. Ни гугу! Не вздумай булгатиться или голос подать, народ шумнуть!.. Лучше бы ты кувырнула на солому, не дай бог растрясу по колчяем... — и, не доложившись начальству, прикрываясь общей суматохой, настро-

палил конягу в полумрак ельника, куда и ворон-то залетает редко. — Ну, трагай со Христом!

Подхлестнув Гнедого, помчался что есть мочи! Телега заскакала по замерзшим комьям грязи, загрохотала, рассыпая по кочковатому лесу дробными горошинами перетреск.

Роман же меж тем, выйдя на край Брусничного, остановил трех встречных баб: так, мол, и так, где тут у вас лагерь, в котором немцы детвору содержат.

— О-ох! Ми-илай! Лучше и не спрашивай! Сами оттуда плетемся, — тетки поставили пустые кошелки наземь, утирая концами полушалков слезы, принялись было жалковать об детишках, рассказывать: — Подсобрали вот кой-чего: бульбы, каких-никаких сухариков, яичков да яблочков, а ироды на посту до ребятишков не допустили, выкладывайте, говорят, передадим. И скрыться мы не успели, подгребли они нашу передачку да в будку к себе и оттащили. Сами теперь трескают, а малышня — в чем дух держится! — еще пуще заголосили сердобольные белоруски.

Выслушивать их плач — Роману нож по сердцу. А потому, не медля ни минутки, двинулся он к скотному двору напрямки, через огороды, как присоветовали ему не перестававшие реветь бабы.

На удивление, лишь только Роман вытащил из-за пазухи пуховый платок («До чего же умница Ариша! — снова подумалось ему, — будто наверхника знала!»), фриц оказался очень даже сговорчивым.

— O! Flaumigen Schall! Gut! Sehr gut! — обрадовался фриц и тут же, как баба, накинул на плечи Аришину шаль.

И, отобрав у Романа еще и узелочек с припасенным для Серезжки го-стинцем, все ж таки пропустил его за колючку.

Роман шел сараем, меж коровьих стойл, и с каждым шагом ему становилось страшнее и страшнее — показалось, все детишки выглядели на одно лицо: худющие, с большими в темных полукружьях глазами. Но самое главное — он все никак не мог различить среди них своего Сергуньку. В полутьме коровника продрогшие детишки, зарывшись в солому, жались друг к дружке.

— Сергунька-а! — наконец, терпение Романа лопнуло, и он закричал не своим голосом на весь сарай, так, что, переполошившись (детвора-то все больше молчала, уже и плакать не плакала), с перемета слетела и, проносясь над стойлами, выпорхнула в ворота стая воробьев.

— Папка! Папка! — выскочил тут же на другом конце длиннющего прохода Серезжка, — я ждал! Я знал, что ты за мной обязательно придешь!

Боже мой! Какими глазами провожали Серезжку до ворот несчастные ребятишки! А у Романа, прижимавшего сына к груди, стучало и стучало в голове: «Лучше уж самому здесь остаться, чем уйти одному, оторвать теперь от себя Серезжку!»

У ворот коровника притулилась сваленная как попало куча ржаной соломы. Если стоять не по центру выхода, часовому не видать, что происходит у этой копейки.

Наверно, сам Господь послал Роману подсказку в последнюю минуту, уже у ворот коровника, мол, попробуй-ка так и так, вдруг посчастливится вытащить сына из этого кошмара.

Роман склонился над сыном, пошептался с ним о чем-то, и Серезжка, худенький, словно гороховый стручок — даже копошащиеся в соломе во-

робьи не успели заметить — шмыгнул со спины под длиннющую отцовскую шинель.

Почти до самого постового они шли медленно, прихрамывая, шаг в шаг. Метра в десяти от выхода Роман что-то еле слышно сказал Сергуне, и тот, обхватив отца за пояс, повис на нем, поджав, как можно выше, ножонки.

Выпуская Романа на волю, немец похлопал ладонью по груди, по Аришиной шали, еще раз гавкнул свое «gut-gut!» и принялся закрывать ворота. А Сережка, словно бельчонок с дерева, соскочил с отца, прыг в придорожный ельник — и был таков.

Потом сторожко шли они вдоль проселка, покуда не скрылись с глаз постового, — Роман, колтыхая, поминутно оглядываясь, нет ли погони, а Сережка — приседа и крадучись.

Спустя полчаса, не ведая, что по этой же дороге им навстречу мчатся Митроха и Ариша, они уже углубились в лес.

Митроха, стоя, привычным взмахом руки раскручивая над головой вожжи, подгикивал, гнал во весь опор. Птицей взлетели на пригорок, юркнули, спустились в бурю заколдобистую луговину, опять взлетели. Взмыленный, курившийся паром матерущий Гнедко — черту брат! — дико несся вскачь сквозь ядреное октябрьское утро по чуть приметной глухой дороге в сторону Брусничного.

Воздух еще баюкались.словно на почтовой открытке, с поднебесья, с маковок дремучих деревьев, прижавшихся плечо в плечо, тихо-тихо под шелковый шорох на закрайки лесного болотца, покрытого тончайшим стеклом ледка, на поседевшие травы и кусты запросеивались первые осенние снежинки. Невидимое, но уже проснувшееся солнце расстилало по макушкам бора румяное покрывало. В утренних голубоватых лучах они казались сотканными из серебра.

На что понадеялся переступивший через себя мужик?.. Что удачливое померещилось вдруг ошалелой голове его (удали-то в нем всегда водилось через край)? Скорее всего, он и сам того не знал...

Да и что пытаться?.. Все под Богом ходим! Хотя... Может, думал закатить телегу с Аришей подальше в буреломины и пехом сгонять в Брусничное за Романом?.. А может, взмахнула крылами, распрямилась его душа, помечталось парню — плевать на все злключения — сложить вместе был и небыль, умыкнуть свою любимую в такой страшный для нее час на край света, и чтоб никто-никто в жизни ее не сыскал, как говорится, ни свой брат, ни соседская курица. Говорят, мол, надежда — хлеб несчастливца... Кто ж его знает?.. Одно можно сказать точно: о себе он тогда не думал вовсе.

Ветки деревьев хлыбстали по его лицу. Гнедко шарахался выступавших на дорогу кустов, глаза у него яблоками вылезали на лоб, брызгали искрами. На мшанины сквозь грядки грузно просыпались какие-то узелки и кошелки, в лужи шлепались кули. Митроха же летел и летел! Спасал Аришу... ягодку свою боровую.

«А иначе цена тебе, Митрошка, попомни, и вовсе пятак, и в нутрах твоих не сердце ласковое, а камень дрыхнет, и тот — слякоть с тухлинкой», — определил он для себя, прежде чем умыкнуть ее из обоа.

— Господи! Не дай загинуть, Господи! Чего тебе стоит? Пошли нам

спасение! — захлебываясь слезами, утирая рукой нос, шептала то и дело Ариша...

Показалось: оторвались! Ни погони, ни шума, ни окрика вослед.

— Ну, — смекает Митроха, уж и радость в груди заколотилась, — еще версты две-три, а там захочешь — не нагонишь. Завернем в первую чащобину, прикинем, что к чему.

А дорога вдоль строевого сосняка — прямиком и прямиком, ни тебе свернуть, ни обернуться. Как раз тут и выехала им шестерка конных наперерез. Митроха признал их еще издали: и Кузьмичева, и его сподручных. Загодя притпрукнул, сошел с телеги, обмотал вожжами сосну.

Подкинув поближе к Арише автомат: «Сгодится!», выдернул из двух гранат чеки, сунул руки с лимонками в карманы шубника и твердым шагом двинулся навстречу верховым.

— Ну, и что ж ты, шельма, творишь-то? Ума тряхнулся, баран шелудивый! — попер на него с лету староста. — Партизан на нас навести, прибудыш, уздумал? Мало того, что мужик убег, так ты, сволочь, еще и бабу его спасаешь?

— Я еще не ошалел, — упреждая дальнейшие расспросы, не смолчал, ухмыльнулся Митроха. — У партизан мне искать, сам знаешь, нечего, а с бабой у тебя осечка. Душа еще не совсем опаршивела, коростюю не покрылась... Моя это теперь баба! И попробуй, кто тронь!

Власовцы, не слезая с коней, закружили, взяли в оборот Митроху, того гляди стопчут.

— Ты еще грозиться будешь? — надвинулся тучей Кузьмичев. — Твоя, говоришь, бабенка-то?.. А я думаю: теперь она вовсе ничейная, беспризорная... Какой от ей прок? Харкнуть да растереть! Ну, а коли ты ее застолбил, говоришь, так тебе ж и слаще: придется не пожадничать, поделиться со старыми друзьями. Сичас поползаешь на карачках, проверим тебя на вшивость, из какого ты теста. А не то — и кокнем вас, голубков, разом, к чертовой матери. Это мы можем!

Мужики заржали, еще лише загарцевали вокруг Митрохи.

— А больше вы ничего не хотите? Нашли чем испугать! Говорят, за убийство пауков сто мешков грехов сымаются! — пробормотал скороговоркой, насмешливо сверкнул, «как молынья», запавшими, вдавленными ночной мукой глазами Митроха.

Власовцы и сообразить не успели: в краткую секунду выдернул он из карманов руки и тут же разжал пальцы... Взрыва, разметавшего все вокруг, они даже не услышали...

Роман вытянулся слухом, как струна: в глубине леса лихо ухнуло. Аккурат в тот же миг вздрогнуло у него сердце, будто его зацепило осколком.

Подхватив на руки легонького, как пушинка, мальчика, рванулся он лихорадочно по проселку вперед, насколько позволяла стертая в кровь культяпая его нога. Не заметил, как отмахал версты три. И тут, посереде леса, на прогалине меж кустов боярки, увидел свою Аришу.

Она сидела на срубленной взрывом сосне. На суку висел автомат. Шагах в ста во взъерошенных хвоях пофыркивал Гнедко. Рядом со съжившейся в клубок, еще не успевшей прийти в себя Аришей (плечи ее ходили ходуном, мелко тряслась опущенная в колени голова), раскинулся на припорошенной снегом хвое изувеченный взрывом Митрошка. На меловое лицо его опускались снежинки и уже не таяли...

Вокруг развороченной ямины как зря валялись окочурившиеся владовцы и их перебитые кони. Брюзжали — аж жуть брала — израненные деревья. И из-за их тягучих стонов на глухую поляну наваливался дикий страх.

И почудилось Роману — откуда она взялась в эту пору? — горестно, словно баба на погосте, застонала, замусолила душевным голосом на болоте одинокая выпь, да так тяжко, что тоска у Романа змеей подползла к горлу, а по телу побежали мурашки.

И только Сережка ничего и никого не заметил, кроме своей мамушки Ариши. Усмотрев ее еще издали, он соскочил с отцовских рук и, спотыкаясь на колдобинах, рванулся к ней что было мочи.

— Мама-а-а! Мамочка-а-а! — всколыхнулась от его радостного крика поляна. — Я живой!

— Жив! Жив! Жив! — подхватило, раскатилось вдоль бора вездесущее эхо.

— Жив-жив! Жив-жив! — заликовали, роняя боярку на оснеженную поляну, первые снегири.